Тихоокеанский государственный университет

Л.Е. Бляхер

# «Восточный поворот России»

# возникновение и выживание естественного порядка в малых городах Дальнего Востока России

Бляхер Л.Е. Восточный поворот России (возникновение и выживание естественного порядка в малых городах Дальнего Востока России). – Хабаровск: ООО «СКВ галерея», 2013. – 90 с.

Рецензенты: доктор политических наук, профессор И.Ф. Ярулин.
ИКАРП ДВО РАН.

Книга посвящена анализу социальных процессов, происходящих на Дальнем Востоке России, преимущественно в малых городах региона, возникающих при столкновении спонтанного порядка, складывающегося в 90-е годы и начале XXI века и государства, стремящегося «приспособить» этот порядок для решения собственных задач. Исследование предназначено для профессиональных политологов, социологов, государственных и муниципальных служащих, а также для студентов, изучающих соответствующие дисциплины.

Издание осуществлено при финансовой поддержке фонда социальных исследований «Хамовники»

*ISBN 978-5-905583-01-9*

*УДК 353*
*(571.56/6)*
*ББК С561.2+У04*

*© Бляхер Л.Е., 2013*

*© Тихоокеанский государственный университет, 2013*

*© ООО «СКВ галерея», 2013*

## Оглавление

Предисловие ..... 4

Восточный поворот: о чем речь? ..... 5

Проблема политического перевода, или сложности изучения неевропейских политий ..... 10

Русская Власть между государством и империей: специфика легитимации власти ..... 27

Презумпция виновности: новая легитимность власти и новый кризис. ..... 40

Спонтанный порядок на Дальнем Востоке и полицейское государство ..... 51

Заключение ..... 88

# Предисловие

Эта небольшая книжка не могла бы появиться без поддержки фондом социальных исследований «Хамовники» моего проекта «Формы хозяйственно-экономической и социальной активности населения малых городов Дальнего Востока России».

Именно благодаря этой поддержке получилось организовать обширное полевое исследование, давшее фактический материал, связанный с теми трансформациями, к которым приводит государственное воздействие («масштабные государственные проекты») в малых городах региона. Дело в том, что в крупных городах эти самые «масштабные проекты» создают множество новых возможностей: от организации бизнеса при бюджете проекта до получения должности в государственной структуре, число которых в регионе резко увеличилось. В малых же городах и способ организации, свойственный 90-м годам (спонтанный порядок), и новая ситуация проявляет себя с чистотой, приближающейся к уровню «лабораторного эксперимента».

Однако, как и в любом эксперименте, проводимом по нестандартной методике, в книге немалое место занимает описание самих оснований эксперимента, принципов его анализа, теоретических, эмпирических и исторических посылок, его проведения. Эти посылки и привели к идее «Восточного поворота России», которая выступает контекстом к событиям, происходящим сегодня в малых городах региона.Но не менее важно здесь и другое обстоятельство. Форма сосуществования или не сосуществования полицейского (формализующего, нормирующего) государства и спонтанного порядка в России наших дней, видимо, обладают некоторыми устойчивыми и воспроизводимыми чертами. Без их учета описание происходящих событий будет лишь бесконечным «сбором материала», коллекционированием, а не исследованием. Попытаться выявить эти формы, включить их в глобальный контекст мы и попытались в этой работе. Понятно, что здесь эти структуры не столько описываются, сколько обозначаются.  Насколько все мои мысли и попытки были интересны, судить читателю. Мне же остается выразить благодарность профессору Иркутского университета В.И. Дятлову и доценту того же вуза К.В. Григоричеву, директору ЦНСОО М.Я. Рожанскому, профессору ВШЭ С.И. Каспэ, в беседах с которыми уточнялась авторская позиция. Я благодарен также редакции журналов «Полис», «Полития», «Отечественные записки», на страницах которых ряд положений, представленных в книжке, прошли апробацию.

# Восточный поворот: о чем речь?
## (вместо введения)

Как обозначено в заглавии, речь пойдет о «Восточном повороте» России, т.е. о масштабном движении «на Восток», более или менее явно выраженном в последние годы. Однако сам термин нуждается в уточнении. Мы в минимальной степени будем касаться экономических и финансовых процессов, протекающих сегодня в восточной части страны. Как не будем мы касаться и споров о том, что лучше: министерство или госкорпорация по развитию восточных территорий?

Речь пойдет об уникальной возможности, по существу, первой серьезной возможности осмысления новой страны, возникшей в 90-е годы, страны, именуемой Российская Федерация. Восточный поворот в рамках нашего курса рассматривается, как политический конструкт, позволяющий помыслить Россию, как целостность. Не Российскую империю, не СССР. Их осмысление осуществлено и завершено. Но Россию в новых, небывалых границах, с новым, небывалым геополитическим статусом.

До сих пор новая Россия мыслится как нечто «бывшее». Бывший СССР («постсоветское пространство»), «возрожденная» империя. Конечно, оснований для такого взгляда множество. От символики и старо-нового гимна, до мощнейшего ностальгического движения, охватившего сегодня богоспасаемое отечество. Но столь же трудно не видеть, что мы живем в какой-то другой стране. Да, похожей на свои «бывшие» политические формы, но другой. При этом, ощущение «другой страны» не находит воплощения в новых идеологических концептах.

Отсутствие такого осмысления приводит к тому, что не складывается важнейший элемент идентификации личности – политическая идентификация. В результате не выстраивается ключевое для эпохи Нового времени «воображаемое сообщество» – народ. Общество дробится на малые группы, с трудом выстраивая даже региональные идентичности. По существу, нас связывает сегодня только силовая рамка да празднование дня Победы.

Так что же такое – «Восточный поворот»? «Восточный поворот» в рамках нашего курса понимается, как миссия России по соединению «центра производства» (АТР) и «центра потребления» (Европа). Россия выступает представителем Запада на Востоке и Востока на Западе, становясь, тем самым, средоточьем современной цивилизации. Сразу оговорюсь, что речь не идет о научной и даже не о философской концепции, но о выстраивании страны, как целого, о политическом мифе. Есть объективное движение с запада на восток производственных мощностей, технологий и т.д. Есть не менее объективное движение товаров в противоположном направлении. А есть, точнее, пока нет,

политическое осмысление этого процесса, наделение его некими (мифическими) смыслами.

Политический миф – модный объект и политологического, и политического осмысления, чаще всего наделяемый негативными коннотациями [1]. Он воспринимается как неистинное, ложное знание, используемое той или иной группой для манипуляции общественным сознанием, подчинения его своим эгоистичным целям. На основании этого, как правило, делается вывод о необходимости «разоблачения» мифа, демонстрации его не подлинности [2]. Не вдаваясь в полемику о сути и функциях политических мифов, сформулирую несколько тезисов, на которые буду опираться в дальнейшем изложении.

По моему глубокому убеждению, политический миф, как и миф вообще, есть не ложное или ошибочное знание, но знание, не требующее проверки. Политический миф предстает истиной просто потому, что он миф. В этом своем качестве он не нуждается в подтверждении чем-либо, кроме себя самого. Его наличие детерминирует отбор фактов, концепций и т.д. в научном и политическом дискурсе. Точнее, любая имеющаяся реалия интерпретируется в мифологических формах.

Миф – принципиально контрфактичная структура. Его не компрометирует никакая совокупность фактов, предъявленных индивиду.

На этом, в частности, основана устойчивость «ложных» смыслов и механизмов смыслоозначения. Например, образ «доброго царя», одна изключевых мифологем российской социальной жизни, отнюдь не разрушается при столкновении с не очень добрым – скорее держатель высшей власти начнет восприниматься как «самозванец» (а самозванец – как «добрый царь»)[3]. С таким положением вещей сталкиваются критики любой мифологемы. Можно сколь угодно долго приводить факты, опровергающие мифологическую конструкцию. Носитель мифологемы способен даже признать истинность этих фактов. Но сами факты им не генерализируются. Спасая свой мир, основанный на мифе, он выдвигает сильнейшую идеализацию: «А почему бы и нет?».

В этом плане миф – не «слово» в лингвистическом или культурологическом понимании, а образец, далеко не всегда артикулируемый напрямую. Достаточно часто миф остается на уровне смыслового фона, интерпретационного контекста. Наличие такого контекста позволяет группе осуществлять совместную деятельность, несмотря на различия целей и мотивировок. «Конфликт интерпретаций»

---

[1]Лобок А.М. Антропология мифа. – Екатеринбург. 1997; Лакофф Д. Метафоры, которыми мы живем // Арутюнова Н.Д., Журинская М.А. (ред.) Теория метафоры. – М.. 1990

[2]Московичи С. Машина, творящая богов. – М. 1998.

[3]. Эйдельман Н.Я. 1991. Твой XVIII век. Прекрасен наш союз. – М

здесь выносится за рамки коммуникативного акта, не участвует в конструировании общей реальности. Так, миссионерскую деятельность православных священнослужителей среди коренных народов Дальнего Востока не особенно затрудняло то обстоятельство, что легитимные для аборигенов формы группового брака квалифицировались миссионерами как «разврат», «сожительство братьев с сестрами». Этот момент просто «опускался» в ходе коммуникации.

Другими словами, миф – это организующее коммуникацию коллективное знание, которое обеспечивает совмещение «когнитивных горизонтов» членов группы. Индивидуальные «возможные миры» соединяются в мифе в единую интерсубъективную реальность. Между такими «мирами» проводятся «мировые линии», позволяющие отождествлять предметы и действия в разных «мирах», узнавать объект вне зависимости от того смысла, который ему в этих «мирах» приписывается. Миф не сводится к слову или иному демонстрируемому артефакту либо смыслу. Он представляет собой сложный и целостный смысловой комплекс. Появление одного (демонстрируемого) элемента активизирует в сознании членов группы всю совокупность смыслов.

Происходит предвосхищение целого через часть. Существование такой целостности создает базу для отделения «своего» пространства от «чужого», объединяет разнородные элементы в общую сверхсхему, на основе которой и конструируется реальность. Наличие общей или сводимой к некоему общему знаменателю системы мифологических представлений автоматически делает коммуниканта «своим», наделяя транслируемую им информацию изначально высоким доверием.

Описанные выше особенности мифа проявляют себя и в политическом пространстве. Подобно любому другому мифологическому образованию, политический миф выступает не столько инструментом манипуляции, сколько «несущей конструкцией», задающей параметры отграничения «своего» пространства от чужого, друга от врага. Ведь чтобы миф мог использоваться в качестве инструмента манипуляции, манипулятор и манипулируемый должны быть включены в разные мифологические системы, ориентироваться на разные мифы. Однако в такой ситуации нет «совмещения горизонтов», а следовательно – и коммуникации. В лучшем случае у манипулятора может возникнуть иллюзия, что он создал некий мифогенный механизм типа «национальной идеи». Если же управляющий и управляемый находятся в одном мифологическом пространстве, обеспечивающем полноценную коммуникацию, то оно в равной мере детерминирует и первого, и второго, делая невозможной манипуляцию мифом или мифологическим сознанием.

Попытка «выйти за миф» будет успешной только при том условии, что она опирается на другой миф. Восставшие английские крестьяне пели: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином?». Иначе

говоря, основанием для критики дворянства, власть которого освящалась мифологической традицией, служила иная, более древняя, а потому более значимая мифологема, связанная со Священным Писанием.

Но, выйдя «за миф», человек попадает в другое мифологическое пространство. Его действия перестают коррелировать с действиями членов прежней группы. Он оказывается в положении чужака и может управлять лишь посредством силового принуждения. Более того, осмысленные прежде коллективные действия лишаются для него всякой логики, ибо логика этих действий основана на мифе. В результате он утрачивает возможность не только «управлять» (как политик), но и понимать происходящее (как ученый). Лица, придерживающиеся разных мифологических представлений, пребывают в разных «реальностях», непересекающихся и потому не сводимых к некоему эквифинальному (устраивающему всех участников коммуникации) единству. Для того чтобы, находясь в рамках иной мифологической системы, организовать коммуникацию с данной, необходимо создать «сверхсистему», снимающую межсистемные противоречия. Однако подобного рода «сверхсистема» часто оказывается иллюзорной.

Особенно остро переживается ситуация, когда отсутствие общей системы мифологических представлений обнаруживается у частей одного политического целого. Когда действия управляющих строятся на ином мифологическом основании, нежели действия управляемых, они не встречают понимания, что влечет за собой и утрату доверия. Сохраняя легальность в качестве действий легальной власти, они теряют легитимность.

Подводя итог нашего введения, пока выдвину тезис: «Восточный поворот» в том качестве, о котором мы говорили выше, мог состояться, но не состоялся. Разворачиванию этого тезиса и будет посвящен мой курс. В первой его части я сделаю упор на «возможности» и «вероятности» возникновения этого политического конструкта. Во второй постараюсь описать причины, которые не дали ему воплотиться.

В том случае, возникает совсем не праздный вопрос: а зачем рассматривать то, чего нет, что не воплотилось, так и не перейдя грань, разделяющую возможность и действительность? Дело в том, что идея «Восточного поворота России», как представляется, даже не будучи эксплицированной, заявленной явно, продолжает подспудно присутствовать в общественном сознании. Даже то, с какой яростью прогрессивная и не очень печать обрушивается на реконструкцию Владивостока. То с какой страстью обсуждается возможность/ невозможность создания государственной корпорации по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, эффективность/ неэффективность работы нового министерства по развитию Дальнего Востока, говорит о

том, что идея продолжает не существовать, но бытийствовать в сфере возможного[4].

Ведь, несмотря на обилие проектов спасения отечества, это едва ли не единственный вариант объединения не «против», а «за», вариант конструирования политической нации без большой крови. Более того, этот вариант, как я постараюсь показать далее, соответствует большей части сложившихся в стране политических практик. Он является не навязанным, но естественно возникающим в самых разных локалах социального пространства страны. В нем меньше откровенного социального конструктивизма, меньше манипуляторских попыток. Он - один из вариантов социального консенсуса, общественного договора, который, как хочется верить, еще возможен в стране.

Однако, прежде, чем перейти к содержательной части наших бесед стоит обозначить собственную теоретическую позицию, скажем так, собственных «классиков». Я попробую обозначить теоретическую модель, которая и будет прилагаться к реальности, связанной с «Восточным поворотом». Эта модель несколько отличается от модели, предлагаемой классической учебной литературой по политологии, потому и имеет смысл поговорить о ней подробнее. Засим, приступим.

[4] http://www.toz.khv.ru/newspaper/ot_pervogo_litsa/vostochnyy_vektor_rossii_/

# Проблема политического перевода, или сложности изучения неевропейских политий

Политология как наука возникла и развивалась в рамках вполне определенных политических систем. Ее концептуальный аппарат настроен на эти системы, их анализ. Во всяком случае, если говорить о политологическом мейстриме XX столетия, а не о «совсем классиках» (Аристотеле, Гоббсе). Этот инструментарий и переносился на исследование политических систем, как таковых, воспринимался, как универсалистский подход. В чем же специфика этой системы?

Попробуем описать, сосредоточившись на том, что мы сознательно ориентируемся не на самоописание «Запада», оно, как раз и породило классическое обществознание XIX - XX столетия, но на конструирование некоторого внешнего взгляда, который, как представляется, и позволит перейти к описанию неевропейских политий. Вполне понятно, что даже «внешний» взгляд, конструируется с помощью понятий европейской науки и ее классиков, может быть чуть менее классических, нежели те, что оказались в учебниках. Причина проста. Наука - европейская выдумка. Другой науки просто нет. Есть ученые, живущие в других странах, но это совершенно иной разговор на иную тему. Вооружась этими соображениями, попробуем проследить становление европейской политики Современности.

Общей чертой эпохи, известной как Новое время, стало углубленное разделение труда, которое, возникнув в промышленности (мануфактура), постепенно охватило все сферы общественного бытия, породив относительно автономные социальные локалы – экономику, политику, культуру и т.д., – то есть многослойность, конечные области значений Альфреда Щюца[5].

Однако многослойность на самом деле была относительной. Система статусов, представление о целостности Божьего мира и многое другое, унаследованное от средневековья, продолжали скреплять социальную ткань. Главной же скрепой, создававшей небывалое единство, правда, уже не в пределах Божьего мира, а не отграниченной территории, выступала нивелировавшая все различия сила государства и государственной бюрократии. Смысл этого единения, как убедительно показал Святослав Каспэ, заключался в возможности поставить под контроль проходившие по территории ресурсные потоки. «Забрезжившая перспектива утоления объективного ресурсного голода стала мощным

[5]Шютц Альфред. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Сост. А. Я. Алхасов; Пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; Научн. ред. перевода Г. С. Батыгин, М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003, 336 с.

субъективным мотивом для постановки принципиально новых целей и использования новых методов их достижения». И поскольку «в условиях феодальной системы с ее переплетением личных зависимостей и господством нормы «вассал моего вассала не мой вассал» ресурсные потоки «распределялись между слишком большим числом получателей и потому быстро истончались» [6], идея монополизация доступа к этим потокам была естественна и вряд ли могла не возникнуть.

Важно подчеркнуть, что такого рода монополизация была призвана обеспечить сохранение традиционной статусно-иерархической структуры. Ведь и католический король Испании, и христианнейший король Франции, да и (первоначально) английский монарх ни на какую иную легитимность, кроме имперской и церковной, не претендовали. Строго говоря, они были не столько суверенами в классическом смысле слова, сколько «областеначальниками» в рамках единой (по крайней мере, ментально) Империи Христиан. На противопоставлении имперского и государственного суверенитета, имперской и государственной политических форм стоит остановиться подробнее. Здесь для меня принципиально важным является разделение, заимствованное из работ Святослава Каспэ, проинтерпретировавшего идеи Эдварда Шилза [7]. Разделение государство и империя.

Империя – не большое государство, да и вообще не государство в классическом его понимании. Данная политическая форма потенциально охватывает весь мир. Последний делится на то, что «уже империя» и «еще не империя». При этом, размеры государства особого значения не имеют. Византийская империя к своему закату контролировала лишь часть Балканского полуострова, но была империей. При этом, наличие большой территории само по себе еще не есть показатель империи. Это – просто большое государство. Что же делает империю империей? Наличие трансцендентальной легитимации. Империя выступает земной проекцией некого высшего начала, определяющего не просто ее политическую структуру, но бытие, как таковое. Именно поэтому она Всемирная, поскольку общемировой бытийственный принцип лежит в ее основе.

Именно потому императору (посреднику между трансцендентным миром и миром посюсторонним) нужны технические структуры, осуществляющие не управление восходом и закатом солнца, разливами рек и плодородием почвы, не спасением душ подданных, но банальным

[6] Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и политическая форма Запада. – М. 2007.

[7] Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход// Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972, с.341-359.

управлением хозяйственным и социальным организмом. В качестве таких технических структур и возникают государства в Европе.

Однако позже эти (технические) структуры получают и определенную самостоятельность. Манкур Олсон достаточно подробно описал процесс становления этих технических структур в рамках модели «стационарного бандита»[8]. В отличие от «бандита-гастролера», грабеж со стороны которого не ограничен никакими «контрактами», а полученные средства тратятся только на потребление и модернизацию силового ресурса, «стационарный бандит» вынужден осуществлять гораздо более сложные телодвижения. Он вынужден думать о том, чтобы иметь возможность изымать нечто завтра и через год. Значит – он забирает не все, но некоторую часть, без которой возможно продолжение деятельности социального агента. Он вынужден осуществлять защитную функцию. Ведь ограбление кем-то (бандитом-гастролером) его подопечных снижает для него возможность изъятия. Тем самым, снижается общий уровень насилия в социуме. Насилует только он. Осуществляя и поддерживая свою монополию на насилие, он вынужден производить «порядок», повышать предсказуемость поведения членов общества, создавая условия для экономической и социальной активности.

Однако «чисто техническая сущность», описанная впервые Макиавелли, не особенно жизнеспособна. Насилие со стороны стационарного бандита, при всех бонусах, остается насилием. Перестает оно им быть лишь тогда, когда «стационарный бандит» становится Земным Богом, Левиафаном Гоббса[9], обретает легитимность в глазах насилуемых. Сам акт насилия становится здесь формой реализации некоторого, несомненного блага в интересах особой и новой сущности – народа. Народ, нация и делегирует государству (в лице государя или в лице столь же абстрактной «власти», «аппарата», «вооруженных отрядов людей») легитимность. Можно сколько угодно выделять признаки народа (язык, общность территории, общность исторической судьбы и т.д.). Можно спорить о них. Думаю, что все эти признаки достаточно факультативны. Важнее то, что именно с этим воображаемым (!) сообществом соотносит себя подавляющее большинство людей, населяющих территорию, контролируемую стационарным бандитом. В то же время никакая группа, вне системы легальных и легитимных процедур не является народом. Она – только группа, в крайнем случае, население. Народ же – трансценденция. Правда, в отличие от империи – трансценденция «среди нас живущая».

---

[8]Олсон М. Логика коллективных действий: Общественные блага и теория групп. – М. 1995.

[9] Гоббс Т.. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. М., 1991.

Итак, империя всегда является глобальной структурой, получающей легитимацию из трансценденции, запредельности. Она выступает земным воплощением божественного (трансцендентного) порядка вещей. Именно потому империя не ограничена территорией, терпима к локальным различиям, если они соотносятся с базовым (трансцендентным) основанием. Государство – всегда локально, ограничено в территориальном отношении, представляет собой посюстороннюю сущность. Источником легитимации этого Земного Бога выступает народ, воображаемое сообщество, с которым идентифицируются люди, проживающие под управлением стационарного бандита. Даже, если человек временно или против воли находится на данной территории, то его идентификация (я – не этот народ) тоже связана с данным концептом. В интересах народа (общее благо) и осуществляется деятельность государства. Вне общего блага, вне легитимации со стороны народа власть государства превращается в структурное насилие, вызывая, в конце концов, столь же структурное противодействие. Такое "реликтовое", идущее от империи общее благо присутствовало и в ранних государствах.

Будучи держателями локальной, а потому ограниченной, «технической власти», они (государства) должны были заботиться о духовном благополучии подданных и, следовательно, располагать необходимым для этого ресурсом. Иначе говоря, большая часть радикальных, революционных изменений, произошедших в XVI и «длинном XVII» веке, была связана с желанием сохранить в неизменном виде общество и мир его сакральных представлений[10].

Не вдаваясь в перипетии становления территориального государства эпохи Модерна, остановлюсь лишь одной из возникавших в ходе данного процесса проблем. Для утверждения территориального государства (помимо империи) в качестве локального «центра силы» и организующего начала требуется не только силовой ресурс. Но и наличие в обществе материального ресурса, который можно изъять без фатальных для этого общества последствий. Соответственно, необходимы люди, которые бы создавали добавочный ресурс, а также люди, способные контролировать его изъятие и организовывать само однородное государственное пространство. Другими словами, нужны предприниматели и бюрократия.

Однако ни в структуре феодального государства как локального центра субимперского уровня, ни в самой империи, ни первых, ни вторых не было. Не стояло задач, способных вызвать их появление. Королевские «управляющие» в округах (графы, сенешали, бальи, шерифы и др.) по самой сути своего правления не были пригодны для единообразного осуществления государственного правосудия, поскольку ориентировались на «высшую» справедливость и «Божий», а не королевский суд. Главное

[10] Капустин Б.Г. Критика политической философии/ Избранные эссе. – М., 2010.

же, через контроль над округом, через заботу у Спасении души подданных, они оказывались в известном смысле «равными» королю, получали доступ к тем самым ресурсным потокам, которые следовало монополизировать. Кроме того, ресурсные потоки, идущие от крестьян, были слишком неопределенными, чтобы на их основе можно было строить хозяйственный расчет. Особенно остро проблема добавочного продукта, а также инструмента его изъятия и поддержания «порядка» встала в XVII столетии, когда хозяйственный подъем, длившийся более двух веков, сменился тяжелейшим кризисом.

Но если таких предпринимателей и администраторов не было в системе феодальной монархии и империи, это не означает, что их не существовало в принципе. В городских центрах, особенно южных, в избытке имелось и то, и другое. Не были ими обделены и королевские города – Лион, Бордо, Неаполь и т.д. «…Территориальные государства, присоединявшие к себе все, что попадется под руку, оказывались неспособными самостоятельно использовать приобретенные ими богатейшие экономические ресурсы, – констатирует Ф.Бродель. – Это бессилие оставляло лазейку для городов и купцов»[11]. В городах чиновник не правил в имперском смысле, но следил за соблюдением контракта, который сами горожане или патриции городов заключили друг с другом. Он был не владыкой, но слугой с определенными функциями.

Указанная лазейка открывалась еще и потому, что и предприниматели, и представители городской бюрократии, перешедшей на службу государству, были людьми «не благородными», то есть по определению не выступали альтернативными «силовыми предпринимателями» и конкурентами государства. Ведь даже подеста итальянских городских республик был наемным слугой, а не властителем, не говоря уже о должностных лицах королевских городов и, тем более, купцах или промышленниках. Описывая французских (королевских) купцов, венецианский посланник XVI в. Микеле Суриано отмечал: «Никакими преимуществами и достоинством они не пользуются, потому что всякая торговая деятельность считается предосудительной для дворянства» [12] . Подобных людей и привлекало государство. Они не правили, но исполняли. Их власть, если можно говорить о власти в этом варианте, была отражением власти принципала.

Но кроме чиновников, которые представляют необходимую, но не достаточную опору для новых государств, были не менее остро необходимы материальные ресурсы, существенно более определенные и

[11]Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. – часть II. – М. 2002.

[12]Волгин В.П. (ред.). Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время. – М. 1950.

легко изымаемые, нежели размазанные по гигантской территории и числу пользователей, нестабильные ресурсы крестьянского хозяйства. Эти ресурсы и давало предпринимательство, экономика в современном смысле слова.

Становление экономики как ведущей сферы общественного бытия происходило довольно медленно – и по «театральному принципу» («те же и Софья»). Постепенно из нужной, но второстепенной отрасли, из проворной служанки экономика превратилась в величавую госпожу, подмяв под себя все другие социальные сферы, обессмыслив прежде значимые деяния и стратегии поведения. Изменения XIII – XVI вв. привели к появлению в период «длинного XVII в.» новой и необычной шкалы социальной мобильности, связанной не с церковной или придворной карьерой (власть от Бога и власть по рождению), но с деньгами, промышленностью и торговлей, а также с местом в государственной бюрократической структуре. Ее возникновение и дало возможность государству и государю утвердиться в качестве «императора в своем королевстве», преодолеть кризис, охвативший в этот период весь мир. Наиболее выраженные формы этот процесс принял в северных странах – Англии, Нидерландах, Франции.

Впрочем, Юг, родина сильных торговых городов-государств, тоже не миновал кризиса. К судьбе этих городов – Венеции, Генуи, Флоренции – стоит приглядеться особенно внимательно. Именно там происходят важнейшие статусные изменения, ставшие образцом для всей европейской Ойкумены, задается «матрица» изменений, статусной мобильности. Сама хозяйственная деятельность, прежде обладавшая лишь функциональной нагрузкой, наделяется здесь значимым и ценностно окрашенным социальным статусом. Богатство «новых итальянцев» инвестируется в статус (патриции). По свидетельству мыслителя XVI в. Себастьяна Франка, «в могущественных и свободных городах» население делится на две категории: «простые горожане и родовитые, стремящиеся быть в некотором роде знатью и живущие на дворянский манер со своих рент и чиншей»[13].

Патрициат постепенно получает доступ к «настоящим» дворянским титулам. Аристократия крови и аристократия денег сближаются. Экономическая деятельность, ранее выполнявшая сугубо техническую функцию, обретает (правда, не совсем «чистый») статус. При этом возникает новая хозяйственная «подпитка» традиционной социальной структуры. Более того, заработанные в ходе торгово-промышленных операций средства в ряде случаев вкладываются не в новый хозяйственный цикл, а в земельные ренты, гораздо менее доходные, вливаясь в

[13] Волгин В.П. (ред.). Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и новейшее время. – М. 1950.

традиционные формы хозяйствования. Таким образом, богатство, хотя пока и не вполне явно, оказывается социальным лифтом, способным качественно изменить статус его обладателя.

Несмотря на уникальность итальянского опыта, определенное взаимопроникновение аристократии крови и денег мы можем обнаружить, пусть в меньшем масштабе, и во Франции, Испании, Англии. Знаменитые английские огораживания и французские откупа тоже были формой такого взаимопроникновения.

Однако между Севером и Югом имелось и принципиальное отличие. Население южных городов не создавало новых статусов и не стремилось присвоить статусную структуру дворянства. Воспроизводилась традиционная цеховая структура с присущим ей набором статусов. Если же городской патрициат оказывался достаточно сильным, он «вливался» в дворянство. То есть, само по себе богатство еще не являлось источником статуса, но лишь позволяло его приобрести.

На Севере дело обстояло сложнее. Новый предприниматель, связанный с «мировыми» рынками, был сильнее цеха, но не дотягивал до уровня венецианского или даже гамбургского патриция, способного влиться в состав дворянства. Крайне важным было и то, что его деятельность в минимальной степени регулировалась местным сообществом. Он не занимал в нем какой-либо статусной позиции и не стремился его возглавить. Он ломал или игнорировал его, ориентируясь на иные территориально-хозяйственные объединения и связи. В результате он не мог приобщиться ни к одной из существовавших в тот период статусных шкал, повисая в безвоздушном пространстве и тем самым лишаясь «социальной видимости», жизненного мира, возможности повседневной коммуникации.

Его коммуникация ограничивалась сугубо профессиональной, то есть технической. Он оказывался Робинзоном Крузо, даже не попадая на необитаемый остров. Но именно это его положение создавало в конечном итоге ресурс, позволявший обществу воспроизводить себя. Мануфактура и международная торговля становились средством не только личного обогащения, но и выживания общества. Богатея, новый предприниматель обеспечивал «работу тысячам», в то время как все остальные формы хозяйствования в лучшем случае поддерживали существование самих работников.

Но, являясь совершенно необходимыми для общества, новые предприниматели попадали в коммуникативную ловушку. Профессиональная коммуникация и коммуникация социальная существовали для них в непересекающихся пространствах. Не случайно в документах той эпохи купцы, промышленники чаще всего представали странными либо даже враждебными «добрым людям» персонажами. В ходе профессиональной коммуникации они обретали средства к

существованию и давали их другим. Для обретения статуса, видимости и понятности для других требовалась социальная коммуникация. Однако поскольку новые слои тратили все свои силы на хозяйственную деятельность, на социальные контакты их просто не оставалось. Чтобы преодолеть собственную бесстатусность, предприниматель должен был… прекратить предпринимательскую деятельность или, по крайней мере, резко ее ограничить. В период появившегося досуга он мог, используя финансовый ресурс, вписаться в одну из имеющихся иерархий. Но этот путь был доступен для меньшинства. Ведь прекратив деятельность, предприниматель лишался этого ресурса, одновременно лишая ресурса (налогов) и общество.

Невозможность без потерь остановить производственный цикл и без его остановки вписать предпринимателей в существующую статусную иерархию постепенно превратилась в одну из серьезнейших проблем, стоявших перед «северными обществами». Слишком большая часть данных обществ была задействована в процессе жизнеобеспечения, чтобы эти люди пребывали в положении социальных невидимок, маргиналов. Слишком много времени им приходилось посвящать хозяйственной деятельности, чтобы они могли «вписаться» в какую-то иную систему отношений, кроме отношений производственных. Соответственно, необходимо было ценностно и статусно нагрузить то, что прежде было нагружено лишь функционально. Выходом стала описанная выше «матрица» конвертации богатства в статус. И хотя «северные» предприниматели, по уровню благосостояния заметно уступавшие «южным», редко могли напрямую приобретать статус, наличие такой «матрицы» статусно окрашивало богатство. Присваивая себе «отраженный свет» традиционных статусов, богатство постепенно вызывает к жизни новую иерархию – имущественную. Иными словами, оно формирует самостоятельную статусную шкалу, причем наиболее простую и безличную, а потому в наибольшей мере отвечающую обезличивающей природе территориального государства.

Таким образом, параллельно с промышленной и научной революцией происходит революция статусов. Появляется система статусов, производных от хозяйственной деятельности (с доходом и потреблением в качестве критериев), и ее религиозное оправдание (протестантизм). Конечно, связь протестантизма с капитализмом отнюдь не линейна, но сама возможность наделения социальным статусом имущества здесь вполне прослеживается. Нельзя забывать, разумеется, и о философских обоснованиях этой революции (Гоббс, Локк и др.). Однако подобные обоснования знаменуют собой не столько статусную революцию, сколько рефлексию над ее последствиями.

Несмотря на все существовавшие между ними качественные различия, статусы эпохи средневековья обладали единой ценностной

шкалой, базировавшейся на идее Спасения, понимаемой одинаково во всех социальных группах. Формирование новой шкалы дестабилизирует общественную структуру. Возникает множественность статусных позиций, общество распадается на сообщества (цеха, гильдии, союзы городов, купеческие компании, маноры и т.д.), Божий мир – на миры Джордано Бруно. Именно для согласования статусов и понадобились и «общественный договор», и Левиафан. Божий мир нуждался в подпорке в лице Земного бога – государства. Превращение хозяйства в автономную сферу, то есть в экономику, сделало необходимым выделение в таковую и политического.

Выделение политического в качестве автономной сферы, с одной стороны, стабилизировало общество, но, с другой, породило потребность в некой столь же автономной площадке, где могли бы вестись переговоры с Левиафаном.

Ведь если Божий мир пребывал в гармонии и неизменности, то посюсторонний мир, начиная с эпохи Просвещения, постулировал свою изменчивость, развитие. Будущее осмыслялось в нем как некий идеал-проект, по отношению к которому настоящее – лишь переходящая ступень. Изменчивость реальности требовала изменяемости и Левиафана, а соответственно, пространства, где такое изменение могло бы происходить. Этим пространством и становится публичная сфера. В условиях воспроизводящегося общества в ней, строго говоря, нет необходимости. При динамизме и постоянном изменении форм общественной жизни – она жизненно важна.

Другими словами, экономика взращивает для себя политику и единую шкалу статусных позиций, основанных на богатстве. Из экономики вырастает система статусов, легитимируемых уже не религиозно, но политически. Сама же политика легитимируется, по крайней мере, в идеале, через публичность, делегирование, через общее благо в интересах народа. На исполнение этих функций (конечно, различное, как различна сама Европа и «мировой центр») направлено и само государство от республики до монархии, и его конкретные формы - демократия, автократия, тоталитаризм и т.д.

Эта структура была осмысленна в качестве политической универсалии. Стала неким инвариантом, который по мере распространения по миру европейской экспансии, был навязан в качестве образца. Все иное оттеснялось в маргинальные зоны, на периферию не только мир-системы Иммануила Валлерстайна, но и на периферию осмысления политологии и политической философии, в область «местной экзотики».

Однако прошлое столетие с его массовым пробуждением мира к политической жизни привело к появлению на одной площадке разных политических систем. Различны они не только в том, что какая-то страна является демократией, а какая-то диктатурой. Различия гораздо глубже.

Сама политическая рамка, средства конструирования политического здесь различаются. Дуглас Норт с соавторами в работе «Насилие и социальные порядки» вводит это различение (европейских и неевропейских политий) как различение «обществ открытого доступа» и «естественных государств»[14]. Причем, первых оказывается в несколько раз меньше, чем вторых.

Казалось бы, в чем вопрос? Давайте откажемся от политологии и перейдем к этнологии или политической антропологии, разработанной для изучения именно таких, архаических систем[15]. Но и здесь не все просто. Как английский (а прежде, французский) язык, вне зависимости от национальной принадлежности все активнее выступает языком межнационального общения, так и европейские универсалии вполне присутствуют в структуре «других» политий, хотя и не исчерпывая их. Колониальный опыт, опыт более или менее конфронтационного взаимодействия с Европой, опыт существования в глобальном мире неизбежно вели к усвоению какой-то части «международного» политического языка. Новые режимы, уже совсем особая архаика, которая научилась говорить с модерном на языке модерна, одновременно, оставаясь собой, заполнили мировую политическую сцену. Остановимся на этом моменте подробнее.

Заинтересованность Запада в восточных товарах и организации неэквивалентного, с его, «западной» точки зрения, обмена привела к усилению его натиска на страны Востока. С созданием колониальных империй и системы полуколоний этим странам «в нагрузку» была навязана экономика, как Канарским островам – сахарный тростник, а Кипру – виноградники. Новая экономическая структура опиралась на подавляющую воинскую силу, основанную на технологическом превосходстве. Однако статусно она в рамках захваченных обществ не осмысливалась, так как противоречила всему их укладу.

В результате перед колониями, особенно обладавшими собственным культурным опытом и историей, встала задача приручить свалившуюся на них экономику. Способ такого приручения оказался очень простым: в экономику включились элиты. Они получали европейское образование, делали европейскую карьеру. Но в элиты их превращала местная социальная структура. Они же выполняли по отношению к ней предельно важную функцию: перекачивали ресурсы из мировой экономики в традиционное общество, подпитывая тем самым разрушенное хозяйство своих стран. Извлеченные из «экономики» средства инвестировались в

[14] Норт Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / Норт Д. . – Москва : Издательство Института Гайдара, 2011. – 480.

[15] Баландье Ж. Политическая антропология. / Пер. с фр. — М.: Науч. мир., 2001 г.

бессмысленные с экономической (европейской) точки зрения сферы: традиционное земледелие и скотоводство, поддержание родоплеменной структуры и др. Мировая Империя Запада адаптировалась к местным условиям.

Именно эти приобщившиеся к европейской экономике элиты и стали основой антиколониального движения. До начала их политической активности массы были вполне индифферентны к колониальной «эксплуатации». Ведь это Маркс или европейский торговец знал, что бусы и зеркальца – ничтожные безделушки по сравнению с золотом и алмазами, а ружья или топоры в целом стоят много дешевле, чем меха или пряности. Абориген знал другое. За совершенно ненужные или не очень нужные кусочки металла или камня он приобретал жизненно важные предметы, позволявшие ему подняться статусно в настоящей жизни.

Пока колонизаторы обеспечивали необходимый для поддержания жизнедеятельности местной социальной структуры ресурс, их присутствие не вызывало ни чувства попранной справедливости, ни протеста. В противном случае (как это было, например, в Северной Америке) местная структура просто уничтожалась, уходила в субстрат новой структуры, отличной и от колонизаторской, и от колонизируемой.

С появлением европеизированных элит ситуация изменилась. Вхождение в экономику дало им понимание истинной стоимости имевшихся в их распоряжении ресурсов: золота, леса, алмазов, пряностей, нефти и т.д. Соответственно, торговля с метрополией стала восприниматься ими как неэквивалентная. Возникшая деприватизация и вызвала к жизни представление о том, что владычество «белых» («длинноносых» или каких-то еще) не отвечает идеям справедливости (божьим нормам, заветам предков). Отсюда стремление к освобождению от «колониального ига». И поскольку основная масса населения никакого особого недовольства сложившимся положением не проявляла, элиты это недовольство создали и направили. Они сравнили два социальных пространства и постулировали их несоотносимость. Началась эпоха антиколониального движения.

Примечательно, однако, что, освободившись от власти метрополий, ни одно из бывших колониальных обществ не отказалось от участия в мировой экономике. Даже те из бывших колоний, чьи ресурсы были крайне невелики, включились в международное разделение труда, мировую торговлю. Причин здесь несколько.

Колониальные власти существенно трансформировали местную хозяйственно-политическую систему, лишив ее автаркии. Традиционное хозяйство стало испытывать потребность в «подпитке» извне. С распадом колониальных империй эта потребность не только не исчезла, но и возросла. Во-первых, при проведении новых политических границ в рамках одного государства зачастую оказывались враждующие племена,

что повышало издержки на поддержание мира. Во-вторых, развитие здравоохранения и внедрение некоторых элементов гигиены и практик здравоохранения привели к резкому усилению демографического давления. В новых демографических условиях для сохранения прежней (традиционной) социальной организации необходимы были принципиально большие средства [16]. В сходной ситуации Европа и «придумала» экономику и адекватную ей «политику государств».

Вместе с тем ситуация, в которой оказалась мировая периферия, качественно отличалась от той, что сложилась в Европе XVI в. Дело происходило четыре столетия спустя, когда экономика с адекватной ей политикой была уже «придумана». Более того, несмотря на глобальное противостояние «капитализма» и «социализма», обе конкурировавшие в XX в. модели общественного устройства определяли себя в рамках западной культуры. Крах колониальной системы, возникновение и расцвет (не говоря уже о распаде) «социалистического лагеря» не отменили ни мировой Империи Запада, ни мировой экономики. Для второй «мировой экономики» места в мире не оставалось, а значит, нужно было использовать имеющуюся, эксплуатировать наличные ресурсы глобальных экономико-политических сетей. Но для этого семантически и ценностно нагруженное традиционное статусное общество должно было стать государством среди государств с набором обязательных для него элементов и, желательно, демократической атрибутикой (выборы, президент, парламент и т.д.). И многие бывшие колонии и полуколонии мимикрируют под демократии.

При всей своей очевидной имитационности подобные «демократии» играют важнейшую роль в поддержании жизнеспособности традиционных обществ. Именно через такие государства-имитации и их имитации-институты в эти общества перетекают ресурсы мировой экономики. Формы «перекачивания» ресурсов варьируют от «взаимовыгодных» до предельно неэквивалентных. «Взаимовыгодный» характер носит, в частности, экспорт природных ресурсов: энергоносителей, драгоценных камней, металлов и т.д. Здесь повторяется ситуация с железными топорами и ружьями, за которые отдавались меха, пряности, алмазы или рабы. Крайне ценное для европейцев сырье «обменивается» на ресурс, позволяющий традиционному обществу воспроизводить себя. Нечто похожее происходит и при эксплуатации местных трудовых ресурсов. Возникает своеобразная эквифинальность – мировая экономика расширяет сферу своего охвата, мировая политика получает еще одну страну «победившей демократии» или вставшую на путь демократизации, а местное сообщество обретает дополнительные средства к существованию,

[16] Бляхер Л.Е., Салимаов Ф.Н. Таджикистан – проблемный узел Центральной Азии//Полития, № 2, 2008.

зачастую требующие гораздо меньших трудозатрат, чем традиционные формы хозяйствования.

К менее «равноправным» относится строительство военных баз на территории некогда подвластных государств, причем, вопреки сложившемуся стереотипу, в «ущемленном» положении в данном случае оказываются отнюдь не бывшие колонии, а западные державы. Ведь они практически ни за что платят дань местному владыке (царю, вождю, президенту). И уж совсем неэквивалентными выступают разнообразные займы, гуманитарная помощь и т.д.

Описанная ситуация особенно интересна тем, что участники взаимодействия воспринимают его совершенно по-разному. И дело тут не только в объективной неоднозначности разворачивающихся процессов, которые могут трактоваться и как результат работы глобальных экономических, политических, информационных сетей, и как приручение мировой экономики местным сообществом, использование ее в местных интересах. Дело в том, что для включения в международное разделение труда, мировую торговлю и т.п. традиционная социальная структура, продолжающая пребывать в нерасчлененном единстве мифа-экономики-политики-повседневности, «переводится» местной элитой на язык глобальной «Империи Запада». В этом-то «переводе» и появляются демократия, авторитаризм, диктатура, по отношению к которым выстраивается политика мирового Центра. Характер этой политики во многом зависит от важности ресурса, которым обладает соответствующая страна, и ее геостратегического положения. Носителю особо ценного ресурса могут простить и «неправильный политический курс». То, что неправильность данного курса есть следствие неаккуратности «перевода» с настоящего на «симулякровый», не рефлексируется. Реальные противоречия возникают лишь в двух случаях, на которых имеет смысл остановиться особо.

Один из таких случаев связан с ситуацией, когда источник поддержания традиционного сообщества оказывается нелегитимным в глазах мирового Центра. Пожалуй, наиболее яркий пример – производство и экспорт наркотиков. По отношению к наркотикам возможны два варианта нарушения эквифинальности (взаимно приемлемого исхода). Во-первых, в рамках ряда культур потребление психоделиков определенного типа признается вполне нормальным. Те же листья коки для индейцев Латинской Америки или опиаты для пуштунов столь же естественны, как алкоголь для европейцев. Объяснить представителю данной культуры, почему экспортировать их нехорошо и чем это отличается от экспорта, скажем, хлопка, довольно сложно. Теоретически он может с этим согласиться, но в качестве «проблемы» не осознает, воспринимая подобный запрет как своего рода эмбарго. Во-вторых, настоящей реальностью для жителей мировой периферии выступает местное

сообщество (племя, род, соседская община и т.д.). Соответственно, «внешние» ресурсы, которые перекачиваются в него, не имеют ценностной нагрузки: их главная и единственная функция – поддерживать существование области, кишлака, семьи. Весьма показательна в этом плане «борьба с наркотрафиком» в Таджикистане, которая ведется по совершенно четкой схеме. Таможенники и пограничники задерживают ровно столько «наркокурьеров», сколько требуется, чтобы не лишиться должности (она – тоже ресурс общины). Основная же масса «наркокурьеров» беспрепятственно пересекает границу, обеспечивая выживание развалленного за почти столетие иноземного владычества и десятилетие гражданской войны хозяйства [17] . Сходная схема просматривается и в «торговле людьми».

Другой случай – когда глобальному проекту Запада противостоит столь же глобальный альтернативный проект. На сегодняшний день единственным артикулированным альтернативным проектом является Всемирный Халифат. Примечательно, что наибольшей поддержкой он пользуется в странах, по тем или иным причинам «выпавших» из мировой торговли ресурсами, а значит, не получающих подпитки извне. (Афганистан, лишенный нефтяного Эльдорадо, Иран, истощивший ресурсы в многолетней войне с Ираком, страны охваченные «Арабской весной» и т.д.).

В связи с отсутствием такой подпитки, необходимой для поддержания традиционного общества, весь жизненный мир населения этих стран оказывается под угрозой, что и вызывает бурную ответную реакцию. И здесь совершенно не случайна риторика «крестовых походов», отчетливо звучащая, в частности, в речах Джорджа Буша-младшего.

Подобный конфликт интерпретаций нельзя снять посредством перевода на язык мирового Центра, поскольку конфликтующие стороны почти не соотносимы между собой. В рамках проекта Всемирного Халифата государствам и надгосударственным образованиям Запада противостоят сетевые структуры, завязанные на традиционные общинные отношения и не имеющие жесткого центра, а потому неуязвимые для силовых акций.

Таким образом, не только мировой Центр эксплуатирует мировую периферию, но и наоборот. Локальные сообщества «приспосабливают» мировую экономику к себе, ставя ее на службу собственным интересам. Соответственно, политическое устройство этих локалов весьма сильно отличается от политического устройства мирового Центра.

По мнению Михаила Ильина, специфика политического устройства стран мировой периферии заключается в «двойственности»

[17] Там же.

складывающихся в них политических структур[18], что, в свою очередь, является залогом постепенной трансформации традиционных обществ в демократические, а их государственного устройства – в современное государство . Это, бесспорно, так, если речь идет о монархе, объявившем себя не монархом, а президентом, а своих советников – парламентом. Но совсем иной трактовки заслуживает ситуация, когда роли монарха и президента расходятся ситуативно. А именно эту ситуацию мы и наблюдаем в реальности.

Правитель (носитель высшей власти) принимает обличье президента при взаимодействии с мировой экономикой и мировой политикой, оставаясь монархом для своих подданных. При этом, пока мировая экономика выполняет свои функции по отношению к местному сообществу, а то не взрывается по каким-то собственным, внутренним причинам, эквифинальность сохраняется (и стабильность инвестиций тоже). То есть, возникает не «двойственная» политическая система, а система, состоящая из «социального ядра», определяющего суть данного общества, его самосознание и ценностную шкалу, и «защитного слоя», рассчитанного на взаимодействие с внешним окружением, прежде всего с мировым Центром.

В отличие от «ядра», пребывающего в относительно стабильном состоянии и обладающего мощными механизмами религиозной или культурно-мифологической регуляции, «защитный слой» весьма динамичен, так как в противном случае он не смог бы взаимодействовать с динамичной внешней средой, обеспечивая ресурсы для жизнедеятельности общества.

Этот «слой» вполне может включать в себя использование высоких технологий, активную коммуникацию со всем миром и многое другое. Важно то, что носители «прогрессивных тенденций» (ученые, инженеры, военные, дипломаты и т.д.) точно так же укоренены в местном сообществе, как и любые другие его члены. Именно оно выступает основой их самоидентификации, и именно его интересы они представляют и отстаивают.

Принимая на себя внешние импульсы, «защитный слой» поддерживает стабильность «ядра», ограждая его от потрясений. В обществе, где хозяйство, принадлежность к локальной общине и власть неразделимы, взаимодействие внешних акторов непосредственно с «ядром» чревато катастрофой, поскольку неизбежно изменяет расстановку сил, приводит к власти новые группы, представляющие другие

[18] Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм политических систем. Часть 3: Отечественная хронополитика. — М., 1995.

территориальные или родовые объединения. Оттесненные от власти традиционные лидеры вступают в вооруженную борьбу, которая может длиться десятилетиями, ведь на кону стоят не амбиции, а честь и возможность существования всего объединения, и столь же внезапно (для внешнего наблюдателя) завершиться, когда «ядро» обретет новую «точку равновесия». Пример Ирака, Афганистана и Ливии здесь достаточно показателен при всех различиях в генезисе и протекании их «взрывов».

Другими словами, ответом на наступление мировой экономики и мировой политики стала не столько демократизация, сколько возникновение двухслойной структуры («ядро» – «защитный слой»), позволяющей поставить ресурсы глобальных экономических сетей на службу традиционному обществу.

Осознание этого момента и вызвало расцвет политической антропологии, стремящейся ухватить специфику этих необычных политий. В ходе изложения я буду опираться на ряд ее положений. В частности, на остроумные работы Клода Лефора[19].

Я, как и антропологи, попытаюсь эксплицировать некоторые «сквозные» закономерности, которые проявлялись различно на разных этапах, но при этом сохраняли известную тождественность. Как и антропологи, я достаточно холодно буду относиться к фундаментальности собственной эмпирической базы. Однако, в отличие от классиков этого направления я постараюсь постоянно держать в сознании то обстоятельства, что это «архаические» политии, которые уже знают о существовании политий модерна и постмодерна, взаимодействуют с ними на одном поле.

Но даже на фоне двойственности европейской политии (империя/государство), на фоне двойственности политий мировой периферии (ядро/защитный слой) казус России выглядит достаточно экзотически, поскольку его «двойственность» гораздо глубже. Она пронизывает не только защитный слой, но в том или ином виде присутствует в каждой социальной группе. Об этой двойственности и пойдет речь далее. Именно благодаря ей конструируется ситуация, способная вызвать к жизни идею «Восточного поворота».

Опорой здесь для нас станет концепция «Русской системы» Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова, несколько переинтерпретированная Вашим покорным слугой.

Другой опорой станет идея «Острова России» высказанная В.Л. Цымбурским, одним из немногих авторов, который попытался осмыслить Новую Россию, возникшую в 90-е годы. По ходу изложения будут всплывать и иные значимые для нашего курса имена и идеи. Пока же перейдем от уровня «глобальных» спекуляций к спекуляциям, связанным с

[19]Клод Лефорт Формы истории = Lesformes de l`histore. — Наука, 2007.

богоспасаемым отечеством. Я попробую, вслед за авторами концепции «Русской системы» максимально насилуя фактографию, выделить некие общие структурные особенности, воспроизводимые на протяжении истории. В рамках данного рассмотрения Новая Россия выступает качественно иным этапом в сравнении с Русью, Российской империей, СССР. Но, тем не менее, она выступает этапом развития той же сущности, той же политии.

# Русская Власть между государством и империей: специфика легитимации власти

Итак, продолжим наше неспешное движение к «Восточному повороту». Рассмотрим политические эволюцию и сохраняемость определенных политических структур на протяжении русской истории. При всем том, что сама политическая форма здесь менялась и достаточно радикально, некоторые ее элементы постоянно воспроизводились, обеспечивая себе тождественность общества.

На протяжении большей части отечественной истории главной проблемой России была проблема власти, ее взаимосвязь с подвластным ей социумом. Вадим Волков настаивал на тесной семантической связи между словами «дано», «дань» и «подданный». «Дан» (существует) лишь тот, кто находится «под данью», является подданным. Иначе говоря, пространством, где человек наделялся статусом, выступало пространство власти. Власть, соотносимая с высшей ценностью, задавала основания аксиологической шкалы, структурировала общество, обеспечивало его «нерасчленимое единство».

Для того чтобы подобная структура могла сформироваться, необходим ряд условий. Обозначим их.

Первое из них – острая потребность в единстве при невозможности «естественного» объединения. Возникновение такой потребности обычно связано с необходимостью совместных усилий для защиты от внешнего врага, в равной степени угрожающего всем потенциальным участникам объединения (Австрийская империя), или для контроля над торговыми путями (империя Тамерлана). При этом сама территория должна быть настолько гетерогенной, чтобы противиться «естественному» слиянию, и не иметь явного гегемона, способного это слияние осуществить. В этой ситуации власть выступает интегрирующим каркасом, без которого общество просто рассыпается. Но для того, чтобы такой каркас оказался не временной конструкцией, необходимы дополнительные условия.

Второе условие – наличие внешнего (текущего из за пределов общества и контролируемого властью) ресурса, значительно превосходящего местные. Ресурса, который власть может распределять, тем самым наделяя статусом подданного, чья способность осуществлять дальнейшее распределение зависит от объема распределенного в его пользу ресурса. Опираясь на этот ресурс (силовой, символический или хозяйственный), власть подавляет нежелательную активность низовых социальных групп и гармонизирует социальные отношения в подходящей для себя форме.

В этом варианте самостоятельные агенты, столь необходимые европейскому государству Нового времени, оказывались просто излишними, а власть заменяла собой и политику, и экономику, и любую иную сферу конечных значений. Она превращалась сама и превращала общество в тотальность, тем самым «объединяя его». С агентами, осуществляющими самостоятельную хозяйственную, активность приходится договариваться. Даже в зените своей славы и мощи Карл V вынужден был считаться с Фуггерами и испанскими кортесами. Если же ресурс объединен, не зависит от индивидуальной активности агента, но контролируется властью, то агент и оказывается подданным, актором, детерминируемым системой.

Наконец, третье условие – дистанцированность власти. Чтобы легитимировать общество, власть должна быть сакральной («выведенной из зоны фамильярного контакта», говоря словами Михаила Бахтина[20]). Власть здесь существует не в обществе, но на его границе. Причем, не любой границе, а границе между самим обществом и той трансценденцией, которая легитимизирует и власть и общество. Трансценденция здесь выступает не столько в своем религиозном статусе, сколько в форме хайдеггеровского «посыла Бытия», некой сущности, дающей позволение к существованию самого общества, как такового. Властьже выступает медиатором между Бытием и посюсторонностью. Только через власть смыслы трансценденции проникают в общество, позволяя ему «продолжить быть». Тем самым, трансценденция легитимизирует власть, превращая ее в инструмент по легитимизации общества. Само же общество - страдательная сущность, объект, а не субъект. С ним не договариваются, ему позволяют существовать, поскольку вне властного пространства его просто нет. Т.е. нечто похожее на государство в трактовке Гоббса, но без процесса делегирования и договора. Трансценденция, высшая и несомненная ценность делает договоренности излишними.

Легитимация власти из трансценденции задает смысловой контекст существования общества, напрямую связывая причастность к высшей ценности с причастностью к власти. Опирающаяся на «трансценденцию» власть не нуждается в признании со стороны общества, ее основания и принципы не могут быть предметом переговоров. Это не тема для обсуждения, а контекст, позволяющий договориться о чем-либо, «объективные условия», в рамках которых должен жить и действовать социальный субъект. Это – социальная онтология. Онтологичность власти, отсутствие какого-либо явного варианта общественного договора - последняя значимая черта для данного типа власти.

---

[20] Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1990.

Эта троичная структура - трансценденция (высшая ценность), дистанцированная от общества власть и общество, структурируемое властью с помощью смыслов, идущих из трансценденции - воспроизводится на протяжении истории, выступает инвариантом по отношению к конкретным политическим формам, существовавшим на территории Руси (России).

Но не менее значим и другой вариант. Власть не только дистанцированная от общества, не только трансцендентная, но целостная. В период, когда некий элемент власти (трансценденция, дистанцированность или подавляющий хозяйственный ресурс) терпит ущерб, власть теряет не просто онтологическую природу. Она исчезает как тотальность. Будет ли это ущерб трансцендентной природе власти или сокращение распределяемого ресурса – не столь важно. Важно, что практики власти разрушаются. Точнее, они воспроизводятся в новых условиях, где теряют осмысленность.

Остается аппарат насилия и управления (распределения), все хуже справляющийся со своими функциями. Все обширнее оказываются «серые зоны», невидимые для власти, не обладающие легальной презентацией, но существующие. В этих «серых зонах» складывается качественно иная структура, формируется спонтанный порядок.

Сам этот порядок конструируется из осколков власти-онтологии, из маргинальных элементов предшествующей структуры, из любых «подручных материалов». Структурируется просто потому, что тяга к солидарности, потребность в Другом ничуть не слабее в человеке, чем воспетая мыслителями «война всех против всех»[21]. Просто потому, что сообщество пытается выжить в новых условиях. Идеальная задача такого порядка, не входя в открытый конфликт властью, выстроить собственную систему институтов, обслуживающую локальную экономическую активность, защищающую «серые зоны», где возможно сколько-нибудь комфортное существование.

Основой порядка здесь могут быть родственные и местнические связи, дружба и т.д. О роли этих структур в российской политии уже не один раз писали представители «новой культурной истории». Не обозначено было лишь то обстоятельство, что структуры эти выходят на поверхность во вполне определенный период, чаще всего именуемый «смутой», а формируются в качестве политических структур в предшествующий «смуте» период.

Однако, исчезнув в качестве онтологии, власть сохраняется в виде «осколков», идеологического реликта, слишком слабого, чтобы структурировать власть-онтологию, но достаточно сильного, чтобы не допустить конструирование иной всеобщей идеологии на данной

[21] Гоббс Т. Указ соч.

территории. В результате, спонтанный порядок оказывается легитимным только в локальном контексте. Он существует без идеологического обоснования. Последняя функция остается за властью. Таким образом, формируется двоемирие: мир власти, идеологически оправданный, но не присутствующий в повседневности (реальной жизни), и мир повседневности, существующий, но не бытийствующий, не обладающий легальными формами презентации.

В рамках первого мира (мир идеологических смыслов) второй мир (мир естественного, спонтанного порядка) является «преступлением». Однако сил для того, чтобы за преступлением последовало наказание, у власти просто нет. У мира «спонтанного порядка», в свою очередь, отсутствуют структуры, которые могли бы выстроить его собственную идеологию и, добавим, иерархию, выходящую за пределы ситуации. Точнее сказать, эти структуры, в случае их возникновения, вступают в слишком явный и острый конфликт с наличной властью, посягая на последнюю, сохраняющуюся за ней монополию – монополию на символическое насилие.

В целях самосохранения эти миры и вынуждены быть невидимыми друг относительно друга. Последнее отнюдь не исключает формирование локальных монополий на насилие, локальных «общественных договоров». Но идеологически целое присутствует, что и делает невозможным конструирование иного целого. Локальные «общественные договоры» осмысляют себя в рамках глобального. Мир «оговорен» (М.М. Бахтин) исчезнувшей властью-онтологией. Локальные естественные порядки, если и предполагают некоторую легализацию или, хотя бы, структурирование, должны использовать существующий язык. Просто потому, что иного нет. Не случайно попытка сформулировать новую миссию России («вставание с колен») вызвала к жизни исчезнувшую советскую риторику. А государства, возникшие из советских республик или сателлитов, продолжают строить себя в противопоставлении канувшему в Лету СССР. В этом же содержится и потенциальная возможность (необходимость) реванша власти.

Как только возникает ресурс, который можно распределять (внешний по отношению к обществу) монополия на символическое насилие позволяет власти «перейти в наступление», достроиться до онтологии, включающей в себя дистанцированность и абсолютность, монополию не только на легализацию, но и на легитимизацию общества. При этом, сам «естественный (спонтанный) порядок» не исчезает полностью, но уходит в субстрат. Прячется до следующей «смуты», проявляясь в тех самых «неформальных отношениях», столь ярко описанных в рамках школы Теодора Шанина[22].

[22]Шанин Т. (ред.) Неформальная экономика. Россия и мир. – М. 1999.

Такой механизм (тотальность – смута) и воспроизводится на протяжении истории. Но воспроизводится именно, как модель, каждый раз обретая собственную вариацию. Возникает иная (новая) трансценденция, поскольку прежняя оказывается разрушенной или дискредитированной. Меняется характер ресурса. Каждый раз новым предстает и спонтанный порядок, формирующийся на руинах власти или присутствующий в ее «порах». Проследим в самых общих чертах и это воспроизведение, и эту эволюцию.

Сразу подчеркну, что данный курс никоим образом не является историческим. Выделенные структуры нам необходимы для объяснения современности, а исторические отсылки для обоснования самих структур, демонстрации их «работы».

В случае Руси потребность в объединении была обусловлена наличием «стационарного агрессора» – кочевников. Имелся и необходимый внешний ресурс – путь «изваряг в греки» и торговые пошлины. С его помощью княжеская власть победила лидеров общины (волхвов), лишив их через принятие христианства и идеологической власти. Однако княжеская власть находилась в пределах общества, что препятствовало обретения ей абсолютности и дистанцированности. После монгольского завоевания и установления системы, при которой ярлык на великое княжение мог был получен только из рук золотоордынских ханов, возникла и дистанцированность власти.

Как показывает Юрий Пивоваров[23], именно в монгольский период власть превратилась в действительно абсолютную. Наличие внешнего источника легитимности и подавляющего силового ресурса (в виде монгольских боевых отрядов) позволило ей стать сильнее общества. Такой специфический вариант трансцендентальной легитимации. Правда, трансценденция здесь буквальная. Источник легитимности просто находится за пределами Руси. Русь выступает, как часть империи, стремящейся к «последнему морю». Вместе с тем, идеологически в данную империю не входит.

Свержение власти монгольских ханов не повлекло за собой принципиальных изменений в модели взаимодействия власти и общества на Руси. Точнее, через период «смуты», проявившейся в относительной хозяйственной свободе и, одновременно, яростных междоусобных войнах и внутри элитных конфликтах, формируется новая тотальность. В рамках концепции «Москва – третий Рим» сложился еще более дистанцированный механизм легитимации власти: власть от Бога. Изменился лишь характер распределяемого ресурса. Из силового он стал хозяйственным, торговым и символическим. Россия начала «прирастать Сибирью», Дальним Востоком, южнорусскими степями, а с ними – уникальной пушниной и «рыбьим

[23]Пивоваров Ю.С. Русская политическая культура и PoliticalCulture // Pro et contra. Т. 7. № 3. 2002.

зубом», земельными угодьями и рудами. Механизм и цель такого «прирастания» были весьма своеобразными.

Поскольку после свержения монгольской власти силовой ресурс заметно сократился, а символический еще не сформировался, возникла потребность в расширении ресурсной базы за счет привлечения хозяйственного ресурса. Получить этот ресурс можно было только путем увеличения изъятий у населения, пребывающего в рамках вновь возникшего «спонтанного порядка». То есть концентрации в своих руках местного ресурса и повышения нагрузки на общество. Но это, в рамках предложенной модели осмыслялось как несправедливость и вызывало ответную реакцию. Справедливым было бы распределение внешнего, дополнительного ресурса, но не изъятие местного.

В Европе подобная ситуация породила великие крестьянские войны. В России же реакцией на нее стали не «жакерии», а уникальное переселенческое движение. Ведь мир «без власти», а значит, без изъятия, начинался за околицей и тянулся до невероятных пределов. По существу, освоение новых земель было бегством подданных от власти и погоней власти за убегавшими подданными. Догоняя, власть присваивала наиболее ценные из обретенных ресурсов (мех, чай, серебро, железо, золото и т.д.), тем самым получая новые силы и новую возможность перераспределять.

Одновременно с погоней за подданными власть формирует и сакральный, символический ресурс, придающий смысл акту присвоения и распределения. Собственно, сама возможность такой «погони» и была обеспечена наличием (возникновением) символического ресурса.

Возникает подлинная имперская легитимность. Сами по себе перераспределение и захват (освоение) суть не более чем технические средства. Они необходимы, чтобы подчинить все общество единой ценности (трансценденции), земным модусом которой и выступает власть. Именно для этого и нужны распределяемые блага. Но и имперская легитимность здесь не вполне стандартная. «Империя Руси» – это не просто «весь мир», это оставшаяся часть мира.

«Остров Русь», Москва, как убедительно продемонстрировал Вадим Цымбурский[24], – это не просто третий (по счету) Рим, это мир, оставшийся после гибели мира, спасшийся. Подобная установка предопределяет двойственный (локально-глобальный) характер основанного на ней проекта. С одной стороны, Русь есть остров, а значит, часть мира. В силу этого проект оказывается локальным, соотносимым с территориальными монархиями Европы. С другой стороны, «остров Русь» – единственная часть мира. Весь остальной мир не просто «погряз в грехе» – он морок, кажимость. Это делает проект глобальным, вселенским, соотносимым с империей. Из той же установки с неизбежностью вытекают сакральные

[24]Цымбурский В.Л. Остров Россия (Перспективы российской геополитики) // Полис. № 5. 1993.

задачи власти, главная цель которой – Спасение, противостояние Антихристу. Материальные же блага требуются для того, чтобы локальная хозяйственная деятельность и самостоятельность локальных сообществ не вводили в соблазн иного выбора, нежели тот, что предписан сакральной властью последнего Рима.

Такого рода блага обретают в глазах власти подлинный, связанный с сакральной целью смысл только в том случае, если обеспечивают возможность привлечения внешнего ресурса, контроль над доступом к которому и позволяет жестко структурировать общество. Для подавления местной хозяйственной активности недостаточно чисто силового ресурса (хотя без ружей, сабель, офицеров на жаловании и т.д. тоже не обойтись) – необходим и «добавочный» хозяйственный ресурс, существенно превосходящий по объему или, по крайней мере, по значимости внутренний. Только тогда распределение поддерживает абсолютную (трансцендентальную) власть. Ведь и сама абсолютная власть тоже «средство». Она выступает посредником между повседневностью и высшей реальностью. Не случайно определяющим для русских царей был не «управленческий» или «воинский», но сакральный статус. Именно он делал царя заступником за народ перед Богом, а его власть абсолютной.

Именно потому, что власть сакральна, сакрализируется и ресурс, который она распределяет. Однако ресурс этот внутренне парадоксален. Как уже говорилось, получить его можно только извне. Ресурс, поставляемый изнутри, ведет к появлению самостоятельных хозяйствующих субъектов, способствует развитию принципиально посюсторонней, а значит – греховной деятельности. Но поскольку весь мир, кроме «острова Руси», морок, то внешний ресурс apriori греховен. Греховен даже сам латинский язык, на котором говорят и пишут «в мороке». Для его «очищения» и возникает особое медиаторное пространство. Таким пространством становится карнавал. Морок (мир за пределами «острова Руси») существует, и взаимодействовать с ним нужно. Но он не бытийствует. Потому взаимодействие с ним есть, одновременно, защита от него.

О карнавальной природе русской культуры, начиная с Московского царства, говорилось уже немало[25], поэтому я не буду здесь подробно на этом останавливаться. В данном случае принципиален лишь один смысл карнавала – его не подлинность (перевернутость) по отношению к настоящей, сакральной реальности. В неподлинный «защитный слой» и поступает «рыбий зуб», пушнина и т.д. В нем происходит обмен. И так как оболочка эта создана сакральным деятелем (властью), то ресурс очищается. Медиаторное пространство «маскирует» империю под

[25]Лихачев Д.С, Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. - Л., 1984.

государство среди государств, облегчает получение ресурса и решение главной – сакральной – задачи.

Для обретения и удержания ресурса российское «ядро» при Алексее Михайловиче, царевне Софье и Петре Великом создает европейскую «защитную оболочку». Она важна, поскольку именно ее наличие дает возможность получения подавляющего внешнего ресурса. Последний же – необходимое условие бытийствования власти, а через нее и общества. В результате карнавал институционализируется. Оболочка приобретает все более европейские формы.Регулярная армия, чиновничество, государственная и контролируемая частная торговля, полугосударственная промышленность, а главное – уникальные сырьевые запасы и трансконтинентальные торговые пути обеспечивают условия, необходимые для сохранения онтологии-власти, обессмысливания любой посюсторонней активности, протекающей вне властного пространства.

Первоначально «защитная оболочка», как и в описанном выше случае стран мировой периферии (см. выше), в минимальной степени затрагивала суть социальных отношений, способ наделения статусами и ценностную шкалу. Однако здесь начинает работать тенденция по прорастанию самой оболочки внутрь, в «ядро».

Возникает защита от защитного слоя (бюрократия, полиция и т.д.). Эта защита, в свою очередь, европеизируется, что вызывает потребность в новой «линии обороны». При всей ее очевидной маргинальности, оболочка разрастается. Да «образованная публика», «мыслящая часть нации», к которым апеллировали ведущие представители русской общественной мысли, даже в конце XIX в. состояла из «лишних людей», выпадавших из общества. Не случайно столь пародийным вышел у Карамзина «русский европеец», а славянофилы прямо рассматривали государственный аппарат, как «средостение», препятствующее слиянию власти и общества[26]. Но значимость этого «средостения» меняет структуру и самого общества.

Общество было жестко структурировано властью. Табель о рангах и купеческие гильдии сверху, общинные старосты, приказчики и т.д. снизу детерминировали все легальные социальные проявления. Вместе с тем наличие огромной территории и персонифицированность власти создавали почву для возникновения дополнительной структуры, обозначаемой сегодня термином «неформальные отношения». В порах тотальной власти, которая все более обретала черты государства среди государств, формируется структуры спонтанного порядка. Более того, спонтанный порядок начинает прорастать во власть.

Поскольку ни принцип распределения ресурса, ни даже принцип обретения высшей власти (до принятия в 1797 г. закона о

[26] Тесля А.А. Концепция общества, народа и государства И.С.Аксакова (Первая половина 1860-х годов)// Полития, № 1, 2013.

престолонаследии) не были кодифицированы, борьба за власть и ресурс переносилась в приватную и сакральную сферы. В сакральной сфере происходила легитимация высшей власти, полномочия которой могли быть post factum подтверждены и иным образом. Как показывает проведенный Борисом Успенским анализ феномена самозванства на Руси, самозванцы появлялись только в том случае, если возникало сомнение в подлинной (от Бога) избранности царя. Если царь был «от Бога», все остальные его черты не имели принципиального значения[27].

Карнавальный Иван Грозный и «антихрист» Петр признавались подлинными царями, а вот, скажем, Борис Годунов воспринимался как «самозваный» (не от Бога). О народной вере в «царские знаки» на теле вспоминают многие писатели и этнографы. Критерием подлинности, избранности в данном случае служили не какие-то формальные характеристики, а ощущение, переживание: правитель соответствует существующему балансу сил, высшей ценности. Дальнейшее распределение власти и, следовательно, статуса осуществлялось в неформальной (квазиприватной) сфере: пиры, охота, позднее различного рода игры и т.п.

Отношения общинности, разрушенные еще княжеской властью, заменялись отношениями «приятельства», выполнявшими ту же функцию: от «скажи мне, кто твой друг…» до названия официальной должности – «товарищ министра». Они создавали соразмерные личности микросоциальные группы взаимоподдержки.

Не менее важную роль здесь играло и то обстоятельство, что, в отличие от самой власти, которая вследствие своей дистанцированности была закрыта для «фамильярных контактов», ее носитель вполне мог оказаться доступным для таковых . А так как в сакральной сфере пребывала не только власть, но и ее носитель, контакт с ним позволял контрагенту приобщиться к сакральности, высшему смыслу. В сфере «приятельства» складывалась система статусов, дающая право распределять. Оно же являлось индикатором степени причастности к сакральной сфере. Происходило разделение на власть, как трансцендентную (или от трансценденции идущую) сущность, и власть, как место индивида в пространстве власти. Последнее отнюдь не было трансцендентным и дистанцированным.

Между тем само это «приятельство» было не совсем приватным. Ольга Малинова справедливо называет данную сферу приватно-публичной [28] , подчеркивая ее двойственный характер. Возникнув как

[27]Успенский Б.А. Этюды о русской культуре. – СПб. 2002.

[28]Малинова О.Ю. Идеологический плюрализм и трансформация публичной сферы в постсоветской России // Полис. № 1. 2007.

имитация, карнавальное действо, система «европейских» институтов постепенно трансформировалась в пространство, где закреплялись результаты неформального взаимодействия.

Карнавальное пространство все активнее прорастало в «ядро» общества, делая и его двухслойным на каждом уровне социальной иерархии. Весьма показательна в этом смысле двойственность именования монарха (император, самодержец) в одних и тех же текстах, в том числе и официальных. Но прорастание карнавального (анти-сакрального) пространства вело к десакрализации общества, по крайней мере, его части – той самой «мыслящей части нации», которую называли «разночинцами». Именно они начинают мыслиться, как образец правильного поведения. Тем самым, все сильнее проникая в «ядро», размывая его характеристики.

Примечательно и название «разночинцы», то есть люди, живущие в мире формальных статусов, в карнавальном пространстве «защитного слоя», которое все больше становилось сущностным элементом культуры и общества. Такая десакрализация, помимо всего прочего, обессмысливала общество, превращая сакрального властителя в тирана. Ведь, как только исчезал смысл власти, идущий из трансценденции, власть превращалась в насилие. Не случайно на рубеже XIX–XX столетий начались напряженные поиски трансценденции, сакральности и основанной на них справедливости. И, по естественной логике, победила трансценденция, наиболее «оппозиционная» по отношению к господствующей, – трансценденция «объективных законов истории».

Отвергнув и Бога, и монгольского хана, большевики вместе с тем не отвергли сам принцип сакральности, дистанцированности власти от общества (равно как и принцип распределения). Их проект приобрел действительно вселенское измерение – ведь революция мыслилась именно как мировая перспектива. Будучи вполне сакральной, власть большевиков тоже получала легитимацию за пределами общества – в упомянутых выше «объективных законах истории». Большевистское правительство и взяло на себя роль универсального медиатора. Именно оно посредничало между посюсторонним обществом и смысловой трансценденцией, определяло соответствие того или иного факта «объективным законам». Партия, а позже, ее вождь стали носителями сакрального и имперского начала.

Однако крах идеи «Мировой революции», хоть и не отмененной совсем, но оттесненной на периферию идеологического пространства приводит к появлению черт, свойственных более государству, нежели империи. Особенно актуальными эти черты становятся в ходе и после Великой Отечественной войны. Появляется новая историческая общность – советский народ, легитимированный Победой. Появляется общее благо, распространяющееся уже только на советский народ.

Постепенно сформировался и «защитный слой». Вселенский проект замкнулся в рамках одной страны («Родины победившего социализма»).

Существуя как государство среди государств, Советский Союз (Большая Россия) вынужден был обзавестись атрибутами суверенитета. Уже в 1920-е годы (точкой отсчета здесь, по-видимому, может служить Генуэзская конференция) «защитный слой» стал активно прорастать в толщу сакрального пространства общества. На границе «слоя» и укоренялся блат [29], который оказывался «сильнее Совнаркома». Неформальные отношения определяли реальный статус формально равных «первых секретарей» и «капитанов производств». Даже само назначение на должность (наделение статусом) основывалось на неформальных отношениях. Сырье и оружие выступало основой для распределения, а идеология давала возможность снизить общий уровень потребления.

Такая двойственность, при слабой соотносимости оснований Революционной империи и государства СССР в кратчайшие сроки деструктурировала власть как таковую. Две незавершенные легитимации, при этом, обе вполне живые, не позволяли окончательно достроиться ни одной. Ни политическая нация – советский народ, ни трансценденция Мировой Революции, не смогли одолеть друг друга и постепенно деградировали. Причем революционная трансценденция лишилась смысла раньше, с уходом старшего поколения граждан СССР. Но и государство пережило его не особенно сильно.

Непосредственной причиной кризиса власти-онтологии в конце XX в. было исчерпание ресурса, связанное с падением цен на нефть. Но его глубинная причина заключалась, прежде всего, в разрушении вселенского (имперского) проекта, который задавал смысл обществу. Застой 1970-х – первой половины 1980-х годов касался отнюдь не экономики. Как раз здесь, как показывают исследования экономистов, все было более или менее в порядке[30]. Производительность труда медленно, но повышалась. Даже в самые «застойные годы» рост ВВП оставался в пределах 4%, что по мировым меркам вполне прилично. Кризис носил в первую очередь смысловой характер. Государство (пусть в форме сверхдержавы) победило империю – проект Мировой революции. С крахом этого проекта «Родина победившей революции» превратилась не более чем в одно из агрессивных государств, захвативших значительную территорию. Само существование сверхдержавы потеряло смысл. Отсюда – стремление найти новый источник легитимации, столь же внешний, как и «объективные законы истории».

---

[29] Леденева А. Теневой бартер: повседневность малого бизнеса // Шанин Т. (ред.) Неформальная экономика. Россия и мир. – М. 1999.

[30] История Дальнего Востока СССР: период феодализма и капитализма (XVII в. – февраль 1917 г).. – Владивосток.1983.

Такой источник находится довольно быстро и естественно. Параллельно с деградацией имперской идеи в СССР, в борьбе с ней выстраивается иная имперская идея. Идея – свободного мира. Она в равной мере была и американской и европейской по генезису. Но вне сомнения была глобальным проектом. Уже подписание Женевской конвенции, признание прав человека и участие в работе ООН было для СССР фактом признания существования Другой Империи. Политика «мирного сосуществования» – началом отступления. У Советской империи еще хватало военных сил и экономической мощи. Не хватало мощи идеологической, рушилась трансцендентальная легитимность. Эстетическая привлекательность «Запада» оказалась сильнее идеологических постулатов.

Окончательный крах имперской легитимности СССР, произошедший в эпоху перестройки (общечеловеческие ценности) естественно легитимировал ценности Другой Империи – свободного мира, цивилизованных стран. Принятие этих ценностей автоматически превращало империю в «тюрьму народов», поскольку смысл их совместного проживания оказался утерян, а конструкт «советский народ» так и не успел сформироваться окончательно. «Локальный национализм», стремление национальных республик избавится от империи, утратившей трансценденцию, завершил распад государства.

На месте «стран победившего социализма» возникает постсоветское пространство, перед каждым из осколков которого стоит задача построения государства, а значит, конструирования политической нации. В отличие от классического генезиса государств, возникших в противостоянии с империей, современные постсоциалистические и постсоветские государства стремились не только противопоставить себя исчезнувшей империи, но и примкнуть к ее (имперской) альтернативе. Самоопределение через примыкание к новой империи (Европейский Союз) дало крайне позитивные результаты применительно к сателлитам СССР и странам Балтии, но споткнулось на постсоветском пространстве.

Советский народ и связанные с ним политические практики, несмотря на то, что не смогли удержать от распада СССР, оказались достаточно сильны, чтобы воспроизвестись в новых условиях. Об этом воспроизведении и пойдет речь далее. В следующей части мы попробуем проследить этапы становления политических форм в постсоветской России, выделить причины, по которым она так и не смогла избавиться от предиката постсоветская, осознать себя, как новое образование, новая страна и новый народ.

Теоретической основой для нашего анализа выступает концепция административных рынков, высказанная В. Найшулем и С. Кордонским[31]. Здесь предельно ярко проявляется отмеченная выше двуслойность: формальные должностные полномочия и реальные услуги, оказываемые чиновниками населению и друг другу, формы торга и оплаты этих услуг. Во взаимодействии этих качественно различающихся уровней и создается реальность. Ни «тень», ни «свет» не существуют отдельно, они сливаются в целое, не выводимое ни за одной его составляющей.

[31]Кордонский С. Г. Рынки власти: Административные рынки СССР и России / Симон Кордонский. — 2-е изд., стер.— М.: ОГИ, 2006. — 240 с.

## Презумпция виновности: новая легитимность власти и новый кризис.

Итак, новая легитимность власти, возникшей в России на рубеже 80-х – 90-х годов XX века, была основана на сакральном принятии «демократии», как новой трансценденции. Демократические процедуры были не столько формой политического процесса, сколько священным ритуалом, который должен быть воспроизведен с максимальной точностью. В соответствии с сигналами, идущими из трансценденции, вплоть до 1993-го года делались попытки выстроить иную страну с качественно иной легитимностью, с советами, федерализмом и народом-легитиматором.

Но уже в кратчайшие сроки выяснились неприятные для власти особенности этих попыток. Во-первых, власть оказывалась в «досягаемости» для подданных. С подданными было необходимо разговаривать и договариваться. Но в модели «Русской власти» эти практики отсутствовали. Отсутствовало и пространство для публичных переговоров элиты, как и отсутствие практик таких переговоров. Нарастающий конфликт (победа ЛПР на выборах, неумение центра выстроить федеративные отношения, конфликт элитных групп и т.д.) разрешается расстрелом «Белого дома» в 1993-м году.

С этого момента начинается длительный процесс «приручения» демократического ритуала. В XVIII столетии первые русские драматические произведения появились за счет «склонения на русские нравы» произведений западноевропейских драматургов. Нечто подобное происходит и с демократией в конце XX столетия. «Склонение на русские нравы» началось с переноса переговоров из формальной и публичной области в неформальную сферу. Эти практики, как мы констатировали выше, имелись в традиции. Их введение привело к переносу отношений отношения «центр – регионы» к отношению «центральная власть – региональные бароны». Об этом отношении и пойдет речь далее.

Одной из основных функций государства является предоставление населению, и в первую очередь бизнесу, силовых услуг, то есть услуг по производству и поддержанию порядка, определенных и понятных всем правил игры. Установление таких правил, а также контроль за их исполнением и делают государство легитимным в глазах населения. И как раз эти правила, а главное — сами процедуры их исполнения, сегодня оказались крайне размытыми. Все более очевидным становится, что некий важный элемент государственного устройства, каким оно сложилось в постперестроечные годы, утерян и ничем не был заменен. Об этом исчезнувшем элементе политической системы и пойдет речь. Имя ему — региональные элиты, и прежде всего — губернаторский корпус 1990-х

годов. Именно эти элиты создали административный рынок, который, трансформировавшись, функционирует и по сей день. Показательно, что, несмотря на демонизацию «лихих 90-х», губернаторы той поры продолжают восприниматься населением многих субъектов Федерации как «настоящая» власть. Базироваться наши рассуждения будут на концепциях «административных рынков» (Виталий Найшуль, Симон Кордонский)[32] и «силового предпринимательства» (Вадим Волков[33]).

Конец 1980-х и первая половина 1990-х годов проходили под знаком радикального ослабления властных институтов, окончательного распада и прежде не особенно эффективно работавшего механизма управления. Бюрократия и «политический слой» расходились все дальше. Политика дебюрократизировалась, лишаясь рычагов реального управления, а бюрократия, напротив, политизировалась, все четче осознавая свои собственные интересы, не совпадавшие с интересами принципала. Провал перестройки не в последнюю очередь связан именно с выжидательной позицией, которую заняла бюрократия эпохи Горбачева. Как убедительно показал Найшуль, к тому времени местные чиновники в значительной степени приватизировали властные функции государства, так что любое решение, принимаемое в верхах, прежде чем быть реализованным, проходило сложный процесс торга-согласования. И поскольку главный лозунг перестройки — борьба с привилегиями — прямо противоречил интересам бюрократии, любая активность реформаторов блокировалась. Их сигналы просто не доходили до адресатов. Потому-то к власти и пришел единственный политик «ближнего круга», избравший «харизматический», принципиально внеинституциональный тип общения с населением, — Борис Ельцин.

Однако следствием победы такого типа политической коммуникации стал развал государственного механизма. Вместо обмена власти на собственность, который по задумке идеологов постперестройки позволил бы избежать гражданского конфликта, развился процесс хаотического распада общества. Кирилл Коктыш охарактеризовал тот период как «баланс слабостей»[34] — сильных в новой России не нашлось. Во всяком случае, в легальном поле.

В условиях отсутствия «силы» главной технологией выживания стала «теневая», подлинно «народная» приватизация собственного рабочего места, основы которой были заложены несунами (расхитителями социалистической собственности) советской эпохи и ранним кооперативным движением. Всеохватный бартер вплоть до выплаты

---

[32] Там же

[33] Волков В.В. Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ. – М. 2005.

[34] Коктыш К.Е. Пролегомены к антропологии кризиса нашего времени – М., 2009.

зарплаты утюгами и гробами стал формой легализации такой приватизации, а то, что Сергей Дамберг назвал «приватизацией биографией» [35] , — ее идеологическим основанием. Проработав на предприятии 15—20 лет, работник начинает ощущать его «своим». Это проявляется не только и не столько в «чувстве команды» из учебников по теории управления, сколько в уверенности, что предприятие должно (!) решать повседневные проблемы работника, служить ресурсом для их решения. Если же оно этого делать не желает, работник вправе оказать себе помощь сам. Разумеется, за счет того же предприятия. Именно такую позицию в 1995 году занимали респонденты, участвовавшие в опросе, который автор при поддержке фонда «Культурная инициатива» проводил среди жителей Хабаровска и Владивостока.

*Я в депо больше пятнадцати лет оттрубил. Пахал не за страх, а за совесть. И в цеху, и в профкоме. Что ж я, по-твоему, не заслужил себе квартиру сделать сыну. По-моему, очень даже заслужил...*(респондент, мужчина, 43 года, образование неоконченное высшее, профсоюзный деятель).

Сходное мнение в том же цикле:

*Да, станок конторы, а заказы частные. Все так. Только ты подумай, он же был никому не нужен. Студенты практиковались. Мы его до ума довели. Сами. Все сами организовали. Теперь сами и зарабатываем. А* (название предприятия — Л. Б.) *здесь не при делах. Это наше, мы и будем зарабатывать*(мужчина, 41 год, образование высшее, преподаватель).

Такого рода представления послужили основой для масштабного и эффективного сетестроительства. На базе сетей формировалась неформальная иерархия, в соответствии с которой и происходила «народная приватизация».

*У нас все знали: старик* (директор — Л. Б.) *уже даже из кабинета не выходит. А в кабинет доступ только у нее. Она всем и рулит. Этого примет, а этого нет. Она определяла — кому откажут, а кто по легкой проскочит. Кто с ней дружил, все мог получить, все ему с рук сходило...*(респондент, мужчина 48 лет, образование высшее, ИТР).

В наиболее трудном положении оказались работники государственного аппарата, единственным ресурсом которых была им делегированная и частично ими же приватизированная власть. Здесь «приватизация биографией» тоже имела место: на ней, в частности, основывались претензии бывших партийных функционеров на власть в регионах («я области всю жизнь отдал...»). Проблема в том, что именно формальные властные институты и распадались, порождая все новые

[35]Damberg Sergey. Die anderenRussen — die „Ethnisierung“ gesellschaftlicherProzessedurchRueckgriff auf „ethnischesWissen“ // Auf der SuchenachEurasien. Politik, Religion und Alltasgkulturzwischen Russland und Europa / M. Kaiser (Hrsg.).Bielefeld: Transcript, 2003. S. 284—312.

«центры слабости». Тем не менее, сохранившаяся с советских времен «инерция подчинения», то есть привычка исполнять или по крайней мере реагировать на требования властного органа, позволила бюрократии пережить трудные времена, полностью приватизировав формальные полномочия, на тот момент, правда, не особенно востребованные бизнесом. В результате долгое время бюрократы были почти лишены возможности «производить силу» и порядок посредством силы.

Вместо них главными ее производителями стали организованные преступные группировки (ОПГ), в народе — «крыши». Об этих «силовых предпринимателях» столь убедительно и ярко писал Вадим Волков[36], что нам остается только кратко пересказать его мысли. Бизнес, да и просто социум, остро нуждается в некоторой системе общих и понятных правил, во внешней упорядочивающей силе, единственная альтернатива которой — гоббсова «война всех против всех». Криминальные крыши, сами не нуждающиеся в формальном праве, как раз и смогли создать такие правила — жестокие, совсем не демократичные и не гуманные, но на тот момент других просто не было.

Именно криминальные крыши начали выполнять судебные и регулирующие функции, причем выполнять вполне эффективно. Так, в интервью, взятом в 1999 году (проект «Изменение поведения экономически активного населения в период кризиса», осуществленный при поддержке Фонда Форда, № SP-99-2-10) в Комсомольске-на-Амуре, респондент сообщил, что в городе работает «приемная Джема» — местного «смотрящего». В ней, в отличие от легальных инстанций, проблемы населения действительно решались. Об аналогичных «приемных» упоминали и жители других городов Дальнего Востока. Что интересно, мало у кого из бизнесменов отношение к «крышам» было негативным. Этот институт был необходим, и это вполне осознавалось[37].

Но как только заработали первые сколько-нибудь крупные предприятия, завязанные на несколько регионов, а тем более осуществлявшие экспортно-импортные операции, криминал стал давать сбои. Причина проста. При всех страшилках о криминальных сообществах, поделивших Россию между собой и вершивших ее судьбы на тайных сходках, ОПГ на самом деле оставались локальными операторами, обслуживавшими определенный хозяйственный объект (порт, таможенный коридор и т. п.), а все их попытки выхода на новую территорию блокировались тамошними конкурентами.

---

[36]Волков В. Там же.

[37] Бляхер Л.Е. Пегин Н.А. Региональные элиты, силовое предпринимательство и административный рынок// Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения, 2011, С. 225 – 234.

Нелегальность ОПГ тоже была существенной проблемой, поскольку зарубежные фирмы требовали, чтобы российский партнер имел хоть какой-то официальный статус. Тогда-то на сцену вновь и вышло государство в лице служащих, приватизировавших определенный силовой (функциональный, бюрократический и т. д.) государственный ресурс. Именно региональные бюрократии оказались эффективными поставщиками силовых услуг, охватывающих территории больше одного субъекта.

Этот ресурс (легальность, возможность согласовывать межрегиональные и внутрирегиональные интересы, принуждение к исполнению определенных правил игры) и выставлялся на продажу. Его качество оказалось в целом выше, номенклатура услуг — шире, а цена — ниже, чем у ОПГ. Поскольку каждый чиновник-продавец удовлетворялся небольшой платой, то совокупные расходы (на взятки, «дружбу» и т. п.) тоже оказывались, как правило, не слишком значительными. Во всяком случае в тот период они, как отмечали в интервью предприниматели, были значительно меньшими, чем дань «крышам» или белые платежи.

И при этом существенно более эффективными, поскольку позволяли не только избежать санкций со стороны государства, угроза которых к концу 1990-х уже стала относительно реальной. Но и получить необходимую услугу: налаживание отношений с партнером, возврат долгов, защиту от конкурентов и недопущение новых игроков на рынок, приобретение социального статуса, включение механизма enforcement ’а.

Итак, во второй половине 1990-х годов основными операторами, оказывавшими услуги по производству порядка, стали «региональные бароны», то есть губернаторский уровень власти. Цена услуги складывалась из дохода чиновника (взятка, откат) и его издержек при производстве самой услуги. Это подношения выше стоящему начальнику, легитимирующему сам акт приватизации государственного ресурса, а также покупка услуг сопряженных силовых (административных) операторов. Ограничителем цены услуги выступал платежеспособный спрос. При изъятии «в два горла» экономический агент уходил в «тень», под прикрытие криминальных операторов, менял локализацию бизнеса, вовсе прекращал экономическую деятельность. Так, в первые годы губернаторства Сергея Дарькина, когда в Приморье резко выросли цены на административные услуги, едва ли не четверть всех зарегистрированных во Владивостоке фирм сменили место прописки.

Сам рынок силовых услуг имел достаточно сложное иерархическое устройство. В период «парада суверенитетов» подавляющее большинство разрешительных функций отошло к региональной власти. Функцию основного легитиматора хозяйственной жизни на территории субъекта выполнял губернатор. Именно он был верховным «разрешителем» и для силовых операторов, и для экономических агентов. На «низовом» же

уровне, уровне локальных сообществ, «красные» (милицейские) крыши отчасти продолжали конкурировать с криминальными. Но последние в итоге либо срослись с властью, либо были вытеснены из бизнеса. Отметим, что вытеснялись они вполне экономическими методами. Показательно, что в 1990-е годы на всем Дальнем Востоке было возбуждено менее десятка уголовных дел по статьям, связанным с организованной преступностью. Делалось все проще: по словам респондентов, был создан своего рода «губернаторский картель», доступ в который регулировался региональной властью. Предприятия, в него допущенные, получили серьезные преференции, а все остальные автоматически оказались менее рентабельными и были вытеснены с рынка. Вслед за ними ушли и их криминальные «крыши», лишившиеся «кормовой базы».

Поскольку основным источником легитимации власти губернаторов в тот период были прямые выборы, то административный рынок вынужден был взимать достаточно серьезный «социальный налог» в пользу населения. Пал Тамаш писал о «купленной лояльности» [38], однако в рассматриваемый период она таковой являлась лишь отчасти. Безусловно, «социальный налог», которым облагался бизнес, был способом покупки лояльности главного легитиматора — населения. Но помимо этого оценка работы губернатора зависела от качества оказания им административных услуг в самых важных для населения серых зонах, то есть в таких отраслях, как образование, здравоохранение и т. п. Понятно, что в нашем случае «губернатор» — это обозначение не должности или лица, а поставщика властной услуги на определенной территории. Устройство власти и персоны, ею облеченные, могут быть разными, отсюда и разные варианты политических режимов в регионах, но суть административного рынка от этого не меняется.

Федеральная власть была также включена в этот рынок. Прежде всего, не стоит забывать, что центр обладал правом «второй инвеституры». Конечно, первая — всенародное избрание — была главной, но федеральный центр мог создать серьезные проблемы строптивому губернатору. Яркий тому пример — замерзающий Владивосток: в середине 1990-х город несколько раз оставался без тепла и света из-за жесткой позиции Москвы по отношению к губернатору Е. И. Наздратенко, при котором местный ЖКХ набрал многомиллионные долги. Соответственно в направлении Москвы шли не только белые (в то время незначительные) отчисления, но и часть «настоящих» доходов. Так сказать, налог на легитимацию.

При этом дамоклов меч «второй инвеституры» заставлял губернатора постоянно доказывать центру, что тому не следует вмешиваться во «внутренние дела» региона. В ход шли этническое

[38] http://minfin.com.ua/2011/01/14/tamash-pal/

своеобразие, конфессиональная специфика, географически-климатические особенности субъекта.

В дальневосточных регионах усилиями местных СМИ, «исследователей» и прочих властителей дум создавалась апокалипсическая картина гибнущего и уже практически захваченного китайцами региона, вмешиваться в дела которого при его ничтожном электоральном значении себе дороже [39]. Дальневосточные страшилки охотно тиражировала и федеральная пресса. В результате был заключен негласный договор: мы (центр) не лезем в ваш кошмар, рулите сами, но за это обеспечьте максимальную лояльность на выборах. Для «внутреннего потребления» использовались иные ужастики: Москва все отбирает, китайцы давно бы уже все захватили, если бы не мудрая политика региональной власти. К сожалению, автор не располагает прямыми данными относительно ситуации в других крупных регионах страны. Однако и косвенные данные позволяют предположить, что механизм везде был приблизительно одинаковым.

Включенность центра в региональные административные рынки была обусловлена еще и тем, что к тому времени уже вовсю работали предприятия национального масштаба, нуждавшиеся в общих для всей страны правилах игры. При всей своей расплывчатости такие правила существовали, и контроль над их соблюдением осуществляла центральная власть. Таким образом, федеральный центр обеспечивал своего рода «международное право» при осуществлении межрегиональных транзакций. Но в начале 2000-х эта вполне жизнеспособная система начала разрушаться. После восстановления в 1999 году экспортных пошлин на сырье, прежде всего на нефть и газ, в руках центральной власти оказался ресурс, многократно превышавший совокупный ресурс любого региона. Это и предопределило «закат региональных баронов». Впрочем, отнюдь не одномоментный, а продлившийся до середины нулевых.

В начале нулевых, когда цена на нефть сделала исторический рывок и федеральная власть смогла наконец вздохнуть с облегчением, она вдруг обнаружила, что вовсе не управляет страной. Под федеральной властью в данном случае понимается политическая группа, связанная с новым на тот момент президентом. Старая федеральная власть — так называемая семья и близкий к ней нефтегазовый и прочий сырьевой бизнес — осуществляла управление, используя те же механизмы административного рынка, то есть систему неформальных практик и договоренностей. Центр был своеобразным третейским судьей в конфликтах между главами регионов, а также между губернаторами и мэрами крупнейших городов-субъектов. Новая власть в систему таких договоренностей включена не была.

[39] Бляхер Л.Е. Трансграничное сотрудничество: экономические выгоды и политические проблемы// Политическая наука, 2010, № 3. С. 61 – 92.

Собственно, на это и рассчитывали авторы «проекта Путин» из числа представителей старой правящей группы. Они надеялись при новом, ими «сделанном» президенте окончательно закрепить за собой роль всероссийского третейского судьи. Но просчитались.

И дело здесь не в уникальной «харизме Путина». То, что она — продукт современных пиар-технологий, сегодня особых сомнений не вызывает, а в банальном незнании собственной страны. В результате реформ 1990-х значительная — до половины — часть населения оказалась в числе аутсайдеров. И эти люди воспринимали членов правящей в то время группы как личных врагов. В социально ущемленную группу попало и немало тех, кто формирует и выражает общественные настроения — писателей, журналистов, других представителей культурного истеблишмента советской эпохи. В результате сформировалась крайне широкая антиельцинская коалиция, видевшая в Путине своего лидера и защитника.

Однако недовольство вряд ли выросло бы во что-то большее, чем глухие проклятия в адрес «семьи», если бы не мощная (по крайней мере, многочисленная) прослойка бюрократии, в 1990-е годы отстраненная или почти отстраненная от участия в административном рынке. Так, например, министерство образования в минимальной степени контролировало вузы, которые научились обеспечивать себя сами, создав достаточно емкий, даже в условиях демографического спада, рынок образовательных услуг — по существу рынок дипломов. То же самое происходило и в ряде других отраслей.

Иными словами, как уже говорилось, неформальные отчисления в пользу федерального уровня были незначительными, поскольку основные решения принимали местные власти. Эти-то отчисления центр на рубеже веков и начал повышать всеми доступными способами. Прежде всего, постепенно усложняя систему лицензирования федеральной властью местных структур. В результате цена административной услуги для бизнеса выросла, и приобретать ее на месте стало невыгодным. Вместо «розничной торговли» порядком и силой, осуществляемой на региональном уровне, возникли единые центры продажи таких услуг — федеральные органы власти. Губернаторский уровень управления оказался просто-напросто лишним. Особенно в случае, когда федеральные трансферты существенно превышали собственный бюджет региона.

Все это сделало замену выборности губернаторов на фактическое их назначение актом почти рядовым. В регионах стали складываться новые механизмы функционирования административного рынка теперь уже федерального уровня. В нем была задействована та часть местной элиты, которая успела (сумела) вписаться в федеральные управленческие или политические структуры, в местные «дочки» всероссийских предприятий, прежде всего, государственных монополий. Но за два десятилетия реформ

региональная элита уже вполне сплотилась и «приватизировала» регион (по тому самому старому советскому принципу: двадцать лет жизни ему отдано!). Внутрирегиональные связи элитных групп, даже включенных в разные структуры, оказались сильнее внешних. Ведь это многолетние семейные и личные контакты, связь одноклассников или выпускников одного вуза.

*Ну и что, что он теперь в...* (название органа власти — Л. Б.). *Мы с ним уже десять лет по выходным вместе паримся. Наши жены дружат. Что же нам теперь из-за работы ссориться? Работа есть работа, а жизнь есть жизнь. В жизни друг другу всегда поможет* (респондент, 52 года, образование высшее, государственный служащий).

Соответственно региональная элита, взаимодействуя с федеральной элитой, действует, как правило, достаточно согласованно. Как и в советскую эпоху, идет сложный торг с центром, только в отличие от 1990-х годов местная элита выступает уже как «младший партнер». Роль «нового» губернатора в этих играх может быть различной. Один из вариантов: губернатор выступает неформальным лидером местной элиты, вне зависимости от принадлежности ее членов к тому или иному институту. Это характерно в основном для назначенцев из местной среды. Яркий пример — губернатор ЕАО А. А. Винников, бывший мэр города Биробиджана. Впрочем, «чужой» губернатор, приняв местные правила игры, тоже вполне способен стать таким лидером. Другой вариант — «чужой» губернатор, который обладает достаточным ресурсом, чтобы подмять местную элиту. Таким ресурсом может быть укорененность в федеральных элитных группах («связи в Москве»), неформальный контроль над значимой отраслью бизнеса в регионе и т. п. Здесь можно упомянуть губернатора Амурской области О. Н. Кожемяко, некогда «выдавленного» из Приморья Дарькиным, но сохранившего и приумножившего хозяйственный и силовой ресурс. Возможно, что таким лидером суждено стать и В. В. Миклушевскому, недавно назначенному на должность губернатора Приморья. Пожалуй, наименее эффективная стратегия: губернатор в роли агента по отношению к принципалу — федеральному центру. В этом случае административные игры идут своим чередом, но уже помимо формального главы региона.

Одно из последствий фактического уничтожения регионального уровня власти — чудовищное усложнение государственной машины. В стремлении все держать под контролем центр создает все новые и новые контрольные органы. Но проверяющие из местных действуют, как правило, заодно с местными структурами, приезжих же либо покупают, либо демонстрируют им потемкинские деревни. В попытке переломить ситуацию над одними контролерами ставятся другие, над ними — третьи, и так до бесконечности. Местный же бизнес, точнее та его часть, что не успела вписаться в федеральные структуры, постепенно либо

выдавливается из страны, либо умирает. Что касается населения, то оно из категории покупателей административной услуги переходит в категорию продавцов нового ходового товара — лояльности. Однако крайне востребованный в период предвыборных баталий, в другое время этот товар вряд ли найдет покупателя.

В этих условиях меняется и соотношение тотальная власть и спонтанный порядок. Казалось бы, наличие подавляющего и распределяемого централизованно ресурса имеется. Остается «достроить» идеологию, предполагающую трансцендентность и дистанцированность власти. Но здесь и возникли проблемы.

Дело в том, что государственное устройство, которое сложилось в России после 1993-го года и в значительной степени сохранилось до сих пор, не было ориентировано на тотальность власти. Оно функционировало, как пространство согласования разделенных элитных групп, как механизм их консолидации. Не все благополучно оказалось и с трансцендентностью и дистанцированностью власти. Демократическая процедура предполагает принципиально посюсторонний характер власти. Она же диктует возможность внешней коммуникации с любым «представителем народа». Тем самым, власть утрачивает монополию на интерпретацию сигналов, идущих из трансценденции. При этом утрачивается и легитимность власти. Падение рейтинга Б.Н. Ельцина в последние годы его правления – достаточно яркое тому подтверждение. До тех пор пока трансценденцией, легитимирующей власть, оставались «цивилизованные страны» Ельцину прощался расстрел парламента, подавление федерализма в стране, предельно спорная президентская компания 1996-го года. Но стоило заколебаться трансценденции, как популярность стала катастрофически снижаться[40].

Не случайно авторы «проекта Путина» в начале его карьеры выбрали разработку «харизматической» легитимности. Иные варианты оказывались либо дискредитированными, либо невозможными. Но «харизма» по самому значению термина предполагает некий внешний источник, ее дарующий. Этого внешнего источника (трансценденции) и не оказывается. С.И. Каспэ очень метко называет этот тип легитимности «безблагодатной харизмой» [41] .Поиск оснований для легитимности и вызывает к жизни самых разнообразных идеологических Франкенштейнов наших дней.

В силу того, что «цивилизованные страны» оказались неправильной трансценденцией, начинается более или менее открытое «расхождение» с ними, что приводит к утрате режимом даже остатков прежней

[40]Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001.

[41] Каспэ С. И. Назад к Шилзу: социальные науки, политическая реальность и парадокс безблагодатной харизмы // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2011. № 1. С. 5-18.

(«ельцинской») легитимности и напряженным поискам новой. Первым, и естественным, направлением здесь стала «ностальгическая легитимность». Возрождение, сначала несмелое, а потом все более стремительное советских форм и ритуалов, стало приметой времени первого десятилетия нового века. Однако, эта легитимность, хоть и притягательная для значительного числа населения, была отталкивающей и дискредитированной для другой его части. Важно и то, что советская легитимность порождала достаточно серьезные проблемы на международной арене, а ресурсов для ее поддержания было крайне недостаточно. В ней же было «прошито» определенное представление о социальной справедливости, поддерживать которое тоже было не просто (отсюда многочисленные «статьи о дворцах» и популярность борцов с коррупцией).

Подкрепить советскую легитимность (этот эксперимент впервые провели руководители КПРФ) было решено сакральной легитимностью, от Бога, а конкретнее, от РПЦ. Подобные попытки, особенно активные после массовых выступлений 2011 года, становятся мейстримом в период третьего строка, в «десятые» годы. Пока реакция общества на эти инициативы, при всех стараниях масс медиа, достаточно сдержанная[42]. Во всяком случае, до тотальной идеологии еще далеко, как и до образования всеобщей трансцендентной легитимности.

Однако стремление обрести внутреннюю легитимность, успешность которого тоже не вполне очевидна, привели, практически, к изоляции страны от прежних партнеров и кумиров. Не то, чтобы «цивилизованные страны» жаждали как-то изменить ситуацию. Положение России в отношении с Европой ее, похоже, вполне устраивает. Просто возникает стремление ограничить контакты со странным партнером. Отсюда и формируется все более осознанное стремление России, точнее, ее лидеров, к «повороту на Восток». Но здесь возникает совсем иная проблема. Проблема взаимодействия спонтанного порядка, сложившегося в регионе и полицейского государства, вновь вспомнившего про дальневосточные территории. О ней и пойдет речь далее.

[42] Бляхер Л.Е. Государство и несистемные сети «желтороссии», или Заполнение «пустого пространства»// Полития, 2010, № 1, С. 170 – 188.

# Спонтанный порядок на Дальнем Востоке и полицейское государство

Рассуждая о политической структуре, исследователи, как правило, подразумевают какой-то ее уровень: глобальный, региональный, локальный. Относительная автономность этих уровней , чаще всего, во всяком случае, в российских работах не рефлексируется. Такой подход во многом оправдан. Он оправдан до тех пор, пока уровни эти (не акторы, в них существующие, а сами уровни) не вступают в противоречие, в конфликт. В этот момент различие в типах организации, в группировке интересов и их направленности, в самом типе политики актуализируются, обнажая и специфику самих уровней. Пожалуй, наиболее ярким примером такой актуализации и стали события последних лет в одном из самых отдаленных субъектов Российской Федерации – в Приморье и его центре, Владивостоке.

Совсем недавно во Владивостоке прошел саммит АТЭС 2012. Несмотря на то, что событие воспринимается уже в прошедшем времени, в СМИ продолжают звучать вопросы: а зачем это нужно? Для чего были сделаны миллиардные вливания? Для чего построен гигантские мосты и десятки зданий на острове Русский, расширен аэропорт, изменена районная планировка целого (и крупнейшего в регионе) города? Все чаще слышатся голоса: это пиар! Российская власть хочет показать всему миру, очередную «потемкинскую деревню»! Так ли это? Думаю, что не так, или в очень большой степени не так.

Я далек от мысли идеализировать масштабные строительные мероприятия, проводившиеся в регионе в последние годы. Понятно, что и «откатов с распилами» здесь хватало, да и обычная бесхозяйственность, наверное, имела место. Интереснее другое. Зачем это было? Что это может дать? Для ответа на этот вопрос, прежде всего, разведем в стороны два явления: проведение саммита во Владивостоке (и не только во Владивостоке) и инвестиции в крупнейший порт региона . Таким образом, вопроса оказывается два. Зачем России и региону нужен саммит АТЭС? Зачем нужны гигантские инвестиции в город и регион? Конечно, эти вопросы тесно связаны, иначе мы не стали бы задавать их в рамках одной статьи. Но, тем не менее, это – разные вопросы.

Итак, зачем нужен саммит? Попробуем ответить. Россия евразийская держава. Ее меньшая по площади, но большая по заселенности, освоенности часть расположена в Европе. Там же находятся крупнейшие города страны, ее «глобальные города »: Москва и, отчасти, Санкт-Петербург. Да и большая часть городов-миллионников, приближающаяся по уровню развития и функциональной нагрузке к статусу «глобальных центров» расположена до Уральского хребта. За

этими пределами влияние отечественных «глобальных городов» слабеет, а «ориентация на Европу перестает быть абсолютной. Так, уже в Новосибирске коммуникация в западном направлении составляет менее половины товарных и людских потоков, а «южное» и «восточное» направления составляют ему реальную конкуренцию . В районе Красноярска это влияние сходит на нет.

Тем не менее, исторически именно Европа притягивала элиту России, служила ориентиром ее политики и экономики. Ведь именно в европейской части страны сосредоточено основное население, производственные мощности и транспортные связи. Однако Европа совсем не спешила заключать наше отечество в братские объятия. Идущая исподволь европейская интеграция последних десятилетий осуществлялась, в основном, помимо России. В Европу вошли и заняли свое место отпавшие куски «Советской империи», а вот для ее наследницы место отыскалось весьма незавидное. Не вполне то, какое отводят париям преступного мира в камере (это место прочно заняли Албания с Молдовой), но и не во главе стола. Это – место поставщика сырья, или, как пишут коллеги-экономисты, продукции с низкой добавленной стоимостью.

Рынок в Европе достаточно жестко организован и оформлен институционально. Есть жесткое распределение ролей, есть четкие правила. Россия здесь заняла свою нишу, и иной она в ближайшем будущем не станет. Однако до тех пор, пока гигантские доходы от экспорта углеводородов оставались свершившимся фактом, призывы к диверсификации внешнеэкономических рынков оставались призывами.

Наличие унаследованной еще с советских времен системы трубопроводов в Европу, относительно развитой транспортной системы и мощных финансовых структур, расположенных в европейской части страны делали развитие иных направлений крайне затратных и потому нежелательным. Слабеющее влияние «глобальных центров» на азиатскую часть страны приводило и к предельно недостаточному развитию коммуникации. За постсоветские десятилетия некоторое развитие получила транспортная система, связывающая Восточносибирские и Дальневосточные территории с сопредельными странами: авиасообщение, увеличение железнодорожных маршрутов в этих направлениях, появление автомобильных «переходов». Однако уровень развития связей в этом направлении, не шел ни в какое сравнение с уровнем развития коммуникации с Европой. Торговые связи по большей части оставались приграничными. Лишь на рубеже веков они выходят на уровень АТР, но и здесь остаются достаточно слабыми. Должны были появиться крайне серьезные резоны для переориентации хозяйства страны на восток.

Эти резоны и возникают в середине «нулевых» годов. Постепенно сворачиваются и традиционные ближневосточные и североафриканские интересы России. Более того, в перспективе, освоение сланцевого газа, как

и жесткая позиция европейских потребителей, может серьезно потеснить даже российский сырьевой бизнес.

По логике вещей, необходимо постепенно отказываться от «нефтегазовой иглы», осваивать новые сферы деятельности, пока сама «игла» еще кормит. Но на «западном» направлении, сколько не тянуло бы Россию к Европе и в Европу это сделать труднее, чем где-либо. Рынок здесь отстроен и поделен. «Новичку» на нем делать особенно нечего. «Плата за вход» слишком высока. Она достаточно высока, чтобы защитить господствующие корпорации от любого внешнего вмешательства.

Здесь и всплывают азиатские рынки и «восточное направление». Ведь территориально Россия на ¾ лежит в Азии. В Азии же находятся основные источники сырьевых ресурсов. Важно и то, что азиатские рынки, несмотря на всю их значимость, гораздо менее устоялись. Гораздо менее устоялись и роли стран и групп интересов на рынке. Именно там, на рынках Дальней Азии, рынках АТР Россия и может обрести роль игрока. Не случайно перспективы выхода на китайский рынок обсуждались в России еще в период рубежа веков. Но для этого мало одного желания или, как сегодня принято говорить, политической воли. Здесь необходимы транспортные пути, порты, торговые и логистические центры. Важна и специфика деловой коммуникации Северо-Восточной Азии. В отличие от европейских рынков и европейской экономики, экономика стран АТР, особенно азиатских стран, организована не столько на основе формализованных институтов и договоренностей, сколько по принципу «элитных клубов», основанных на личных контактах, страхующих экономические и иные транзакции в условиях недостаточной развитости институциональной структуры.

Конечно, в Европе личные знакомства, «клубность» тоже значат не мало. Но, все же, они дополнение к основной, институциональной системе, основанной на общности истории, политических форм и т.д. В Азии же они – основа транснациональной экономики. В регионе представлены все мыслимые политические режимы – от формализованной демократии до традиционной монархии, все идеологии – от либерализма до коммунизма. Для того, чтобы нивелировать эти различия, а, следовательно, и снизить транзакционные издержки, с этим связанные, используются «неформальные» (личные, дружеские) контакты.

Человек выступает здесь, естественно, как представитель корпорации, но и, прежде всего, как частное лицо. Возникают устойчивые бизнес-сети людей, лично знающих друг друга, доверяющих друг другу, делающих общий бизнес в разных странах. Это доверие и позволяет преодолеть различие в идеологии и в политических режимах между, скажем, коммунистическим Китаем и монархическим Таиландом. Оно выступает оптимальной «страховкой» для бизнеса, существенно лучшей,

чем достаточно спорное и неопределенное «международное право». Само же доверие и базируется на встречах, в том числе в формате АТЭС.

Войти в эти клубы, стать «своими» и пытаются сегодня представители ведущих российских фирм, государственных монополий, крупнейших банков. Конечно, это еще не «членство». Но важный шаг на этом пути. Нужно много встреч в разных форматах, в разном составе, для того, чтобы русский бизнес стал своим в Азии. Именно поэтому затраты на форум – это не издержки, точнее не только издержки, но и инвестиции в будущее, в новые рынки и новые возможности для страны и региона.

Не секрет, что оставленный, практически, на произвол судьбы в 90-е годы, регион самостоятельно, на свой страх и риск осуществлял выход в АТР. За десятилетия сложились устойчивые личные и деловые контакты, знакомства. Здесь мы подходим к той точке, в которой первый вопрос плавно перетекает во второй. Далеко не все инвестиции во Владивосток и в регион в целом являются инвестициями в саммит. Да, Россия стремится сегодня «прорубить окно в Азию», причем, похоже, впервые за всю ее историю это пытаются сделать всерьез. Причем, делается это не на уровне стихийного движения, как в XVII – XVIII веках, не на уровне военно-политической экспансии и философских построений, как в конце XIX – начале XX века, а на уровне долговременной и целенаправленной политики. Но само мировое пространство сегодня в минимальной степени «территория», «площадь».

Взаимодействуют сегодня не столько страны, сколько мегаполисы, крупнейшие центры постиндустриальной экономики, транспортные узлы, центры проведения мероприятий «больших форматов»[43], финансовые центры. Из близлежащих к нам городов это Осака в Японии, Шанхай и Гонконг в Китае, с оговорками, Пусан в Корее и некоторые другие. Страны, чья экономика имеет возможность использовать ресурсы глобальных городов, получают зримые преимущества в виде инвестиций, в виде технологических и управленческих инноваций и т.д. Но единственный город России, который входит в список глобальных городов мира – это Москва. Даже Санкт-Петербург входит в этот список с большим количеством оговорок. Именно Москва в транспортном отношении связана с большинством мировых центров, выступает местом сосредоточения финансовых и товарных потоков, наиболее квалифицированных специалистов, источником инноваций для остальной России.

Однако при всем своем глобализме Москва – европейский город. Его влияние (как глобального города, а не политической столицы) определяет экономический и социальный облик европейской части страны и Урала. В остальной части страны оно может быть «внедрено» политическими

[43] Сергеев В.М., Казанцев А.А. Сетевая динамика глобализации и типология «глобальных ворот» // Полис. № 2.2007.

методами. Однако при этом они оказываются чудовищно затратными и, зачастую, бессмысленными, для экономики. Не случайно процветание, понятное дело, относительное, городов Дальнего Востока в 90-е годы было связано с качественным ослаблением «политического фактора» и переориентацией региона на ближайшие глобальные города.О судьбе Дальнего Востока в новом для него, глобальном контексте и поговорим далее.

Процессы, происходящие на периферии историко-культурных ареалов, представляют особый интерес для исследователя. И дело тут не только и не столько в этнографической экзотике и специфических чертах, характерных для фронтиров. Дело в том, что вследствие периферийности и пограничности подобных территорий сильные концепты, структурирующие воображаемые сообщества , действуют здесь заметно слабее. Их влияние отчасти нейтрализуют и сглаживают противостоящие им «через границу» конструкты иных воображаемых сообществ. Да и внимание центра к таким периферийным территориям существенно ниже, поскольку издержки приведения их «общему знаменателю» и удержания в едином смысловом пространстве очень велики.

Соответственно, в периферийных зонах более выпукло и наглядно проявляются социально-политические процессы, скрытые мощным пластом «больших нарративов» или их «осадков», продолжающих присутствовать в «ядрах» воображаемых сообществ. Там гораздо чаще возникают лакуны, не поддающийся фиксации с помощью «легальной» оптики, где достаточно быстро формируется порядок, принципиальной отличающийся от предписанного официально установленными нормами и институтами. Впрочем, возникнув в лакунарном пространстве, этот порядок далеко не всегда стремится к самопрезентации. По большей части он обнаруживается в виде «сопротивления среды», когда государственные формы концептуализации пространства и социальной общности все же пытаются заполнить собой лакуны на периферии.

Это противостояние между локальным (территориальным) сообществом и государством, стремящимся внедрить формальные правила, не совпадающие с принятыми «на местах» социальными практиками, я и попробую рассмотреть в настоящей работе. В качестве отправного пункта своих рассуждений я использую модный сегодня концепт «полицейское государство», постаравшись освободить его от наиболее явных публицистических коннотаций.

Термин «полицейское государство» все активнее внедряется и в публицистический, и в научный дискурс, направленный на описание реалий современной России. Однако если в публицистическом дискурсе данный термин наделяется ярко выраженными негативными смыслами , то в дискурсе научном дело обстоит сложнее. «Полицейское государство» здесь одна из форм политической организации, при которой

государственная власть обеспечивает (в том числе насильственными, но легитимными методами) исполнение однозначно трактуемых правил внутри политического пространства страны, в результате чего оно перестает быть собственно политическим. «Политическое» же переносится вовне, в сферу межгосударственных отношений.

Ключевое значение в данном контексте, как мы постарались показать в первой главе, приобретает идея общего блага. Именно ссылка на общее благо легитимирует насилие, выступая идеологической основой «наведения порядка». Соответственно, за то или иное понимание общего блага и идет конкуренция. Ведь достаточно усомниться в том, что блага, представляемые государством, являются «общими», как из легитимного инструмента управления насилие превращается в структурное. Нечто подобное мы и наблюдаем сегодня на Дальнем Востоке – одном из наиболее отдаленных от центра регионов страны, с недавних пор ставшем объектом усиленной «государственной заботы».

События последних лет, так или иначе связанные с восточным вектором российской политики, породили пристальный интерес к социальным и демографическим процессам, развертывающимся на территории Дальневосточного федерального округа. Однако интерес этот носит довольно специфический характер, во многом определяясь теми зачастую мифологическими смыслами, которые транслировали сами дальневосточники в первые годы после распада страны. Начиная с 2006 г. количество статей орегионе в центральной прессе увеличилось более чем в 3,6 раза[44].

Темы, так или иначе, связанные с ДВФО (подготовка к форуму АТЭС 2012, строительство трубопровода ВСТО, более или менее регулярные визиты первых лиц, борьба с коррупцией и ввозом японских иномарок, «желтая угроза», сотрудничество с АТР и т.д.), почти не покидают страницы газет и интернет-таблоидов, вызывая неугасающий интерес. Но интерес этот довольно специфичен. Сюжеты, касающиеся собственно региона, его городов, его людей, ситуации в тех или иных социально-экономических и политических сферах, значительно уступают по частоте (примерно в 2,4 раза) темам, к которым Дальний Восток России *имеет отношение*. Регион каждый раз оказывается важен не сам по себе, а как средство достижения чего-то внешнего по отношению к нему. Через него проходит труба, по которой сибирский газ должен попасть к потребителям в АТР. Из его портов отходят танкеры с углеводородным и иным сырьем. Через него в европейскую часть России и в Европу проникают мигранты. «По нему…», «через него…» – вариантов множество. Существенно меньше статей, написанных в жанре «…и это

[44] Бляхер Л.Е. Трансграничное сотрудничество: экономические выгоды и политические проблемы// Политическая наука, 2010, № 3. С. 61 – 92.

все о нем». Показательно, что даже в проекте концепции социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, разработанном Мин регионом в 2007 г., основное место отводится описанию социально-экономического положения… стран АТР [45]. Сам регион как-то «выпадает» из сферы интересов, как журналистов, так и чиновников.

Еще более странно, что блага (инвестиции, льготы и т.д.) и известность, внезапно пролившиеся на ДВФО, чаще всего вызывают негативную реакцию населения. Несмотря на все возрастающую государственную опеку и заботу, уровень депривации жителей и их миграционная готовность здесь не снижаются, но даже растут. В ходе опросов 2000–2004 гг. удовлетворенность своим положением выказывали порядка 40% респондентов, а готовность покинуть регион – 54%. Зато в 2008 г соответствующие показатели составляли 27 и 63%.

Для того чтобы эксплицировать истоки подобной «неблагодарности» дальневосточников, имеет смысл обратиться к тому самому неявному знанию и его влиянию на коммуникацию между федеральным центром и регионом.

Несколько лет назад мною было проведено исследованиеполитических мифов Дальнего Востока, в ходе которого выяснилось, чтоключевыми мифологемами, структурирующими «коллективное воображаемое» и определяющими самоидентификацию жителей региона, являются представления о «богатом регионе» и его «бескрайних просторах» [46]. Вместе с тем обнаружилось, этот богатый регион в рамках тех же коллективных представлений беден, ибо его богатства «не доходят до жителей региона».«Вина» за такое положение вещей, в глазах дальневосточников, отчасти лежит на самих жителях ДВФО, взявших на себя патриотическую функцию защиты восточных рубежей отчизны. Ведь Дальний Восток – непросто один из регионов страны. Это – форпост России в АТР, ее крепость. К крепости же нельзя подходить с общей меркой, тем более с меркой экономической. Но еще больше виновна в бедности региона «Москва» (центральная власть). Именно она обязана содержать «гарнизон крепости», именно она бросила свою крепость в трудный час, именно она грабит ресурсы Дальнего Востока.

Обида на Москву – один из наиболее устойчивых мотивов регионального нарратива. И поскольку Москва бросила Дальний Восток на произвол судьбы, этой крепости с постоянно сокращающимся гарнизоном

[45]Концепция стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 2007 (http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?NewsID=556).

[46] Бляхер Л.Е. Политические мифы Дальнего Востока России // Полис. № 5.2004.

со всех сторон угрожают враги. Самый сильный из устойчивых компонентов региональной идентичности конца 1990-х – начала «нулевых» годов, проявляющийся и в интервью, и в выступлениях местных политиков, и в статьях журналистов, – «китайская угроза». Данные мифы и определяют тональность и направленность диалога, который политические лидеры региона, да и иные (самые разные) «артикуляторы» массовых настроений пытаются вести с федеральной властью.

Примечательно, однако, что вопреки постоянно декларируемому в региональном политическом дискурсе «непониманию» центром специфики Дальнего Востока, до середины «нулевых» годов коммуникация между местным и «московским» политическими сообществами осуществлялась достаточно легко и, как будет показано ниже, вполне эффективно для самого дальневосточного региона. Но примерно четыре-пять лет назад ДВФО внезапно стал осознаваться как наиболее проблемная часть РФ. Регион охватила эпидемия уголовных дел в отношении крупных региональных и федеральных чиновников. Местные газеты запестрели статьями о «гибели» региональной экономики, возросла – и продолжает расти – миграционная и протестная готовность населения.

Для выявления ключевых мифологем, определяющих восприятиедальневосточной окраины за ее пределами, я использовал материалы центральных газет и интернет-изданий за 1999–2009 гг. и Концепцию стратегии социально-экономического развития ДВФО и Байкальского региона, возникшую в недрах Мин региона в 2007–2008 гг.

В ходе контент анализа мною отбирались концепты, наиболее часто используемые для характеристики Дальнего Востока. Сразу же отмечу, что по частоте употребления отобранные концепты в 5,7 раза «опережают» все остальные, что позволяет считать их репрезентантами глубинных коллективных представлений (мифов), а не «частным мнением» журналиста или издания. Показательно также, что вне зависимости от «генеральной линии» издания перечень ключевых концептов сохраняется, допуская лишь незначительные частотные вариации.

Выделенные концепты можно разделить на «позитивные» и «негативные». На создание позитивного образа региона «работают» концепты (по убывающей): «выход в АТР», «природные богатства», «форпост России», «ресурс будущих поколений» (в некоторых изданиях последние два концепта могут меняться местами по частоте употребления). Круг концептов, формирующих негативный образ Дальнего Востока, заметно шире. Наиболее частотные здесь: «удаленность», «безлюдье» («сокращение населения», «бегство» и т.д.), «миграция», «демографическое давление на границы» (полит корректный вариант концептов «китайская угроза», «желтая угроза», «тихая экспансия», тоже встречающихся крайне часто), «сложные природно-

климатические условия», «тяжелый социально-экономический кризис», «преступность», «тотальная коррупция». Постоянно присутствует в информационном пространстве и относительно новая тема «правого руля», «подержанных иномарок» и «протестов автомобилистов». Самым же популярным «негативным» концептом остается «угроза». При «суммировании» этих представлений возникает довольно мрачная картина. Богатому региону, являющемуся воротами России в АТР, ее форпостом и залогом ее будущего, угрожают захват, обезлюдение, экономический кризис, преступность и коррупция. Этот мотив и муссируется в средствах массовой информации, да и в экспертных суждениях.

Но Дальний Восток – не просто «богатый регион». Это регион, в котором остро заинтересовано государство, причем заинтересовано оно в нем, прежде всего, в силу наличия там богатых природных ресурсов и«нераспределенных» (или подлежащих перераспределению) стратегических месторождений», а главное – в силу его транзитных возможностей («…оттуда ближе до динамичных рынков АТР»). Идея «форпоста» России, бывшая ключевой в XIX–XX столетиях, сегодня гораздо важнее для самих дальневосточников, нежели для «внешнего наблюдателя».

Не так все просто и с угрозами, ставшими такой же неотъемлемой составляющей образа региона, как и представления о его богатстве. Начну с так называемых «объективных угроз» в виде сурового климата, удаленности от центра страны и Центра вообще (сама семантика именования), слабой заселенности. Казалось бы, эти параметры не нуждаются в обсуждении. Как мы знаем из книг, кинофильмов и т.п., Дальний Восток – это бесконечные заснеженные дали, таежные дебри, редкие стоянки охотников и рыбаков. Однако нарисованная картина, мягко говоря, не совсем соответствует действительности, и каждый из ее компонентов, скорее, дань определенной исторической традиции, нежели фиксация реального положения дел.

В упоминавшейся выше Концепции стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона территория ДВФО разделена на три зоны: абсолютно дискомфортную, экстремально дискомфортную и просто дискомфортную. Классификация эта выглядит вполне оправданной – но только в том случае, если за достаточный уровень комфортности принять климат Гавайских островов. Температурный режим южной части Дальнего Востока, где сконцентрировано основное население региона, существенно более благоприятен для проживания, чем климат, к примеру, Ленинградской или Вологодской области. Средняя температура летом – от +17 до +26 градусов, зимой – от -8 до -25 (что по меркам России отнюдь не катастрофично). Действительно, на территории региона находится мировой полюс холода (Оймякон, Верхоянск). Но ведь и население там

менее 10 тыс. человек, рассредоточенных на гигантском пространстве. Откуда же взялось подобное представление?

На мой взгляд, все дело в двух смысловых переносах, свершившихсяна заре освоения региона. Первый – перенесение образа «холодной Сибири» на еще более удаленные, а значит – еще более холодные земли. Второй перенос связан со спецификой освоения региона. Опорным пунктом продвижения на Дальний Восток в XVII столетии оказался не относительно «южный» Иркутск, а «северный» Якутск. Само же продвижение шло вверх по Лене и далее до Охотска и Анадыря. Эти районы (богатые «мягкой рухлядью» и «рыбьим зубом», за которыми, собственно, и отправлялись) и впрямь оставляли желать лучшего в климатическом отношении.

Опыт хозяйствования в Приамурье в XVII–XVIII вв. был относительно кратковременным и в целом не особенно успешным и потому не оказал принципиального воздействия на восприятие региона. Более того, история осады Албазина и отступления из Приамурья стала своего рода политико-невротической травмой, старательно вытесняемой из памяти. Позднейшее же освоение Приамурья и Приморья накладывалось на уже сформировавшийся образ «сурового края». В последующие годы «суровость» географо-климатических условий региона активно использовалась дальневосточными политиками для обоснования «особого» отношения к региону и прикрытия собственных хозяйственных просчетов. Так, расходы на формирование приграничного казачьего населения (переселяемого из Забайкалья и частично с Кубани) в XIX в. на 30% превысили запланированные. Еще больший перерасход «пришелся» на каждую версту Транссиба и КВЖД[47]. В советский период «трудными климатическими условиями» объясняли катастрофический уровень бытового обеспечения строителей Комсомольска-на-Амуре и, слабое развитие социальной инфраструктуры в регионе. Крометого, «суровость» климата и связанные с ним «районные» и «северные» надбавки стали важным элементом региональной самоидентификации. Не случайно для старшего поколения жителей Владивостока самой негативной фигурой советских лет до сих пор остается Н.С. Хрущев, отменивший ряд льгот для жителей города и края.

Не менее надуманными являются и две другие «объективные угрозы» – удаленность и редкое население. Однако поскольку они темно смыкаются с «внешнеполитическими угрозами» («превращение в сырьевой придаток», «демографическое давление на границы», «заселение Дальнего Востока китайцами» т.д.), их разумнее рассматривать в общем блоке.

[47] Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII — начале XX века (1640 — 1917). – М., 1985.

В XVIII–XIX вв. удаленность Дальнего Востока носила абсолютный характер. Центр страны и центр мира (Европа) были бесконечно далеко. Только из них в регион, крайне медленно, притекали люди и инновации, причем всякий раз притекали в «пустоту». Местное (стабильное) население было слишком незначительным по сравнению с людскими потоками извне. Местные ресурсы были качественно меньше в сравнение с ресурсами «централизованными». Сокращение «входящих» ресурсов в связи с временной утратой интереса к региону (истощение запасов пушного зверя, открытие более богатых и легкодоступных месторождений серебра и т.д.) вело к немедленной деградации большей части поселений, оттоку населения «на запад».

Но уже в конце XIX – начале XX столетия прозвенел «первый звонок», свидетельствующий о том, что удаленность региона перестает быть абсолютной. Появление европейцев в Китае и поражение России в русско-японской войне 1903–1905 гг. знаменует начало нового этапа в развитии Дальнего Востока. Ближайшее окружение из «пустого» становится враждебным. Соответственно, формируется и образ форпоста. Пространство региона превращается в осажденную крепость, противостоящую враждебному окружению, а население – в ее гарнизон. Природные богатства Дальнего Востока отходят на второй план, откладываются на будущее. На авансцену выходит ВПК в качестве основы экономики. Показательно, что принятый в 1930-е годы первый советский план освоения региона имел ярко выраженный военный характер. Да, здесь развивалось океаническое рыболовство, но гораздо активнее строились базы для военных кораблей и подводных лодок. Да, здесь складывался агропромышленный и природопользовательный комплекс, но куда более значимыми были заводы по производству танков («Дальдизель»), двигателей для подводных лодок («Дальэнергомаш»), самолетов (КнААПО) и т.д. Эта ситуация сохранялась до последних лет существования СССР. Конечно, и здесь были свои «приливы» и «отливы». Так, отмечался некоторый спад интереса к региону в послевоенное десятилетие. Однако в целом «приливная» тенденция доминировала. Более того, строительство БАМа способствовало и возрождению образа «богатого региона», требующего хозяйственного (не военного) освоения.

Последнее десятилетие XX – начало XXI столетия внесли в эту тему свои коррективы. Дальний Восток оказался «дальним» только для собственной столицы. По соседству с ДВФО появляются многочисленные «глобальные города» (Токио, Осака, Шанхай, Гонконг и т.д.) с качественно более активной экономикой, втягивающей в себя хозяйственные системы окружающей их периферии. Тут-то и происходит концептуализация новых угроз, точнее, переосмысление старых.

Неизбежная ориентация периферийного региона на города – «ворота в глобальный мир» вступает в противоречие с образом форпоста. А

представление о «враждебном» окружении трансформируется в идею «демографического давления» на границы со стороны соседей, готовых «поглотить» регион.

Довольно скоро этот образ (миф) начал определять и «объективное», «научное» описание ситуации в регионе. «Если на всем российском Дальнем Востоке проживает 7,4 млн. человек, то в северо-восточных провинциях КНР – 102,4 млн. При этом плотность населения в первом случае составляет всего 1,2 человека на 1 кв. км, во втором – 124,4 человека», – читаем мы в одной из статей зав. отделом социального развития и факторных рынков Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Е.Л. Мотрич[48].

«В последние десятилетия отмечается резкое снижение уровня жизни населения Дальнего Востока, утрачены сравнительные преимущества региона в области доходов граждан, ухудшилось социально-экономическая и экологическая ситуация. Уровень реальных доходов в этом сложном по климатическим условиям регионе сегодня ниже, чем среднероссийский. В результате численность населения, особенно сельского, сокращается быстрыми темпами», – доказывает зам. директора Института Дальнего Востока РАН В.Портяков[49].

Итак, редкое и стремительно сокращающееся население с одной стороны Амура и избыточное, с массой свободных рабочих рук, – с другой. Но попробуем приглядеться внимательнее. Представляется, что с уважаемыми исследователями здесь сыграло злую шутку административное деление России и неравномерность распределения населения по территории административных единиц. Возьмем, к примеру, Хабаровский край. Средняя по краю плотность населения (а в статистических справочниках приводятся данные именно по субъектам федерации) – 1,8 человек на квадратный километр. Однако в районах, примыкающих к границе, она составляет уже от 6 до 20 человек на квадратный километр, а в приграничном Хабаровске – более 1,5 тыс. Еще более плотно населен Приморский край. Но миф диктует потребность в ином «знании». Не случайно прогнозы демографов, по расчетам которых при сохранении современных тенденций депопуляции к 2050 г. население Дальнего Востока может упасть до 4 млн. человек, преподносятся некоторыми авторами как свершившийся факт.

---

[48] Мотрич Е.Л. 1999. Население Дальнего Востока и стран СВА: современное состояние и перспективы развития // Перспективы Дальневосточного региона: население, миграция, рынки труда. – М.

[49] Портяков В.Я. 2004. Экономическая катастрофа грозит Дальнему Востоку // Демоскоп. № 159–160.

Мало соответствуют действительности и представления о «бегстве населения». Подавляющую часть из тех самых порядка 1 млн. 200 тыс. человек, которых лишился Дальний Восток за последние два десятилетия, составляют уехавшие в начале 1990-х годов, в эпоху стремительного распада империи. Понятно, что сокращение населения на этом не остановилось, но по численности оно уже не превышало общероссийские показатели, причем заметное место в нем заняла «естественная убыль», прежде почти не влиявшая на общую картину. Конечно, эта ситуация тоже не радует, однако ее вряд ли можно назвать катастрофической.

Существенно и то, что во многих дальневосточных субъектах Федерации сохранилась вполне благоприятная возрастная структура спреобладанием молодых людей. Под миф подстраиваются и описания положения дел «по другую сторону Амура». Численность населения Дальнего Востока, как правило, сопоставляют с населением провинций, граничащих с Забайкальем и Прибайкальем (при этом забывая «приплюсовать» их население). Если же ограничиться территориями, непосредственно прилегающими к дальневосточным, «давление» окажется гораздо менее впечатляющим: 6-миллионному населению российского приграничья противостоит 70–75- миллионное китайское население. Перепад, безусловно, весьма значительный, но он мало чем отличается от перепада между северными районами США и южными районами Канады, а едва ли кому-то придет в голову вести речь об «американской угрозе» по отношению к Канаде. И вообще не вполне понятно, почему соотношение населения в приграничных районах осознается как угроза.

Ответ кажется очевидным – «они уже здесь»! Китайцы уже заселили Дальний Восток России. Приводимые цифры варьируют в диапазоне от нескольких десятков тысяч (официальные данные миграционной службы – 34 тыс. граждан КНР, имеющих разрешение на длительное проживание в регионе) до миллионов «нелегальных мигрантов» (существующих исключительно в воспаленном воображении авторов). Даже в «строгих» и «компетентных» исследованиях, как правило, суммируются все лица, пересекшие границу России и КНР. В их число включаются трудовые мигранты, туристы, студенты, предприниматели, ученые, приезжающие на конференции, и т.д.

Отсутствие четкой методики контроля и сколько-нибудь достоверныхсведений о длительности пребывания создают почву для самых разнообразных спекуляций. Действительно, жители сопредельных районов Китая активно участвуют в экономических процессах в регионе. Это обстоятельство отрицать трудно (да и незачем). Но гораздо труднее понять, почему оно вызывает столь бурную реакцию. Китайские рабочие обеспечивают трудовыми ресурсами дальневосточный строительный комплекс и службы ЖКХ. Китайские коммерсанты организуют мелкооптовую торговлю товарами народного потребления, открывают

предприятия общепита, инвестируют средства в сельское хозяйство региона, индустрию досуга и гостеприимства. Иными словами, китайцы создают ту самую социальную инфраструктуру, без которой невозможно достижение декларируемых целей развития Дальнего Востока и повышение уровня жизни его населения. В чем же опасность?

Ведь все предельно эмоциональные описания Дальнего Востока вызваны не чем иным, как гнетущим чувством угрозы, предощущением чего-то, что радикально изменит ситуацию в регионе, причем изменит ее в нежелательном направлении. Не вызывает сомнений, что часть ответственности за создание дальневосточных «страшилок» лежит на самих дальневосточниках.

Именно эти «страшилки» позволяли региону привлекать ксебя внимание центральной власти, не давая ему окончательно «выпасть» из политического пространства страны. Именно благодаря им удавалось «выбивать» субсидии (пусть не особенно щедрые) из федерального бюджета. Именно они заставляли принимать многочисленные (и почти никогда не выполнявшиеся) программы развития региона.

Но ведь если бы такие «страшилки» не встречали отклика в сознании ключевых политических акторов и массовых слоев населения, они вряд ли имели бы успех, как не имела его, скажем, идея воссоздания ДВР, некогда популярная среди части дальневосточной интеллигенции и благополучно канувшая в лету. Однако образ сурового и «пустого», но богатого региона, на который покушается сильный сосед, оказался созвучен общественным настроениям, слился с образом Дальнего Востока, отторгая все, что не вписывается в него.

Подобные установки и лежали в основе государственных программразвития региона на протяжении более чем столетия. Менялись представления о «богатстве» региона (земля, золото, лес, биоресурсы). Но не характер и направленность властного воздействия. И сегодня, когда речь заходит о новых подходах к проблемам Дальнего Востока, эти новые подходы трактуются как «эффективное использование природных ресурсов региона (ископаемых, рыбных, лесных); создание транспортно-логистического коридора как для российских, так и для европейских хозяйственных связей со странами АТР; модернизация хозяйственной структуры Дальнего Востока за счет частичной переработки транзитного сырья и полуфабрикатов и достройки «верхних» этажей народнохозяйственного комплекса».

На первый взгляд, описанные выше мифы о Дальнем Востоке практически идентичны мифам самого Дальнего Востока, тем самым, использование которых позволило региональному руководству (не путать с населением ДВФО) организовать эффективную коммуникацию с федеральным центром. В известной степени это так, но имеется один

нюанс, и связан он с восприятием Дальнего Востока как «пустого», «безлюдного», «редко населенного».

Принципиальные расхождения в трактовке соответствующих концептов и стали причиной глубокого когнитивного диссонанса между дальневосточниками и федеральным центром. Что же не устраивает жителей региона в восприятии его в качестве «пустого»? Ведь достаточно близкое понятие («редкое население») используется в большей части дальневосточных «страшилок». Для ответа на этот вопрос попробую описать данный концепт в рамках дальневосточной и внешней мифологической системы.

«Пустота», «редкое население» для дальневосточников – это, прежде всего, подчеркивание значимости каждого человека. И дело тут не в каком-то особом – гуманистическом – духе дальневосточников. Просто в условиях относительной малочисленности населения и развитых сетевых структур ничей ресурс не оказывается лишним, и при изменении ситуации (сокращение господдержки, смена приоритетов и т.п.) именно конвертация людьми своих уникальных умений в некую спасительную форму деятельности обеспечивает выживание региона. «Нас – дальневосточников – мало. Именно поэтому важен здесь каждый. Удержать, привлечь этих людей, чьими усилиями жил и развивался регион, – задача всех государственных проектов»[50].

Такое отношение связано и со спецификой освоения региона. Выше уже упоминалось, что периоды активной «государственной заботы» о продвижении на восток, когда в регион текли финансовые и людские ресурсы, поступали хлеб и ткани, железо и войска, чередовались с периодами «временного охлаждения». Но и во времена «приливов» поддержку получала далеко не любая деятельность. Официально в регионе присутствовало только некое ключевое направление. На разных этапах истории такими направлениями были пушнина, серебро, золото, железнодорожное строительство, рыбный промысел, военно-промышленный комплекс. С наступлением очередного «прилива» менялось начальство, менялись приоритеты, а вместе с ними – и вся легальная социально-экономическая структура региона, подстраивавшаяся под эти приоритеты. Остальная часть населения с ее хозяйственной активностью исчезала из официальных отчетов, превращалась в «невидимок».

В периоды политических осложнений или хозяйственных неурядицрегион переходил в «режим консервации». Вместе с прекращением государственной поддержки «входящих» миграционных потоков прекращались и сами потоки. Исчезали сезонные рабочие и

[50] Песков В.М. 2004. Российский Дальний Восток в глобализирущемся АТР // Социально-политические процессы на Дальнем Востоке России: Анализ, регулирование, прогноз. – Хабаровск.

пришлое купечество. Застывала видимая хозяйственная и культурная жизнь. Население региона заметно (порой почти в полтора раза) сокращалось. Зато актуализировались «невидимки». Точнее, все пространство «внутри» региона становилось «невидимым» для государства. Существенной оставалась только задача обороны границы.

В «невидимом» регионе резко возрастало значение «невидимых» форм деятельности «невидимых» людей, их индивидуальной активности. Местная хозяйственная активность в условиях ослабления административного давления позволяла пережить трудные времена в ожидании, когда политическая воля вновь направит на дальневосточную окраину людей, финансы, материальные ресурсы. Именно эта «невидимая» местная активность создавала относительно комфортные условия существования на Дальнем Востоке, где развитие социальной сферы всегда отставало от развития производства. Более того, благодаря «невидимкам» здесь формировалась особая «проточная культура», призванная «гасить» избыточные инновации, идущие из столицы, приспосабливать их к местным условиям. Тем самым «пустота» региона оказывалась очень «наполненной».

И хотя задававшие структуру социальной ткани, ее неформальную часть «невидимки» были слишком слабы, чтобы диктовать свою волю вновь прибывшим (в периоды деградации большая часть жителей покидала регион), они были достаточно сильны, чтобы трансформировать легальную структуру, обеспечивая выживание населения Дальнего Востока и в кратчайшие сроки превращая «государево око» в лидера местного сообщества.

Поскольку то, что имелось в регионе, не находило места в отчетности, а то, за что чиновнику надлежало отчитываться, отсутствовало, документально регион представал «пустым» и в глазах центра. Однако смысл концепта здесь был иным. Возникал естественный метафорический перенос. Для имперских чиновников или сотрудников Госплана «пустота» региона была лишена смысловой и ценностной окраски. «Пустые земли» рассматривались только как пространство для освоения, чистая возможность, у которой не могло быть собственных интересов. Во всяком случае, «на бумаге» освоение региона каждый раз начиналось с нуля. То, что на месте современного Комсомольска-на-Амуре уже был поселок, никак не отражено в мифологии «города на заре». Местные интересы не то чтобы игнорировались. О них просто не знали. Они не существовали юридически.

Потому-то властное воздействие и воспринималось в регионе как чуждое, Другое. Но именно с ним на Дальний Восток текли ресурсы, качественно большие, чем ресурсы местного сообщества. Эти ресурсы нужно было только соответствующим образом направить, перераспределить по сети. Они были необходимы и желательны, как

любой дополнительный и не сопряженный с особым риском ресурс. Однако для их использования требовалось, с одной стороны, принять мифологему «пустого и сурового пространства» (чтобы ресурсы потекли), а с другой – знать, что оно «не совсем пустое» (чтобы потекли они в правильном направлении).

В итоге центральная власть в очередной раз осваивала «пустынные земли», преодолевая «естественные трудности», а местное сообщество получало необходимые для развития ресурсы. Так, из металла, с избытком выделявшегося на нужды Камчатской экспедиции, кроме корабельной «оснастки» (якорей и т.д.) изготавливались плуги, косы и иной сельскохозяйственный инвентарь, причем о таком «нецелевом использовании» знало все руководство экспедиции. Казаки, которые должны были защищать границу от проникновения китайцев, с негласного одобрения начальства нанимали тех же китайцев для освоения выделенных им участков целинных земель[51].

Об эффективности подобной системы свидетельствует тот факт, что в начале XX в. бедняков на Дальнем Востоке было почти в 1,7 разменьше, чем в целом по России. Другой вопрос, насколько целесообразной экономически являлась она для государства, – но экономическая целесообразность вряд ли была для империи определяющим параметром.

Эта эквифинальная идиллия и оказалась нарушена на рубеже XX и XXI вв. Здесь сказалось несколько обстоятельств. Во-первых, вопреки устойчивым представлениям, в период политических неурядиц 1990-х годов регион потерял относительно небольшую, по сравнению с прежними «кризисами», долю населения. Если раньше в периоды деградации Дальний Восток покидало 30–50% жителей, то на этот раз речь шла о десяти с небольшим процентах уехавших. Остальные не то чтобы не хотели переселиться. Скорее, в те годы им просто некуда и не на что было ехать, а позже нужда в переселении (бегстве) стала менее острой. Эти оставшиеся 90% составляли уже достаточно внушительный слой, способный заметно влиять на осуществление властного воздействия, во всяком случае, на местном уровне. Кроме того, у государства не было возможности «разбавлять» его потоками новых переселенцев. Во-вторых, оставшиеся «невидимки» оказались в непривычных для окраины условиях.

Традиционно – и вполне логично – «абсолютно удаленный» Дальний Восток в периоды деградации стремительно архаизировался. Весьма показательна в этом смысле легенда о том, что в годы первой мировой войны колеса в Приамурье смазывали сливочным маслом вместо солидола. Поскольку инновации шли только с «запада», а «запад» был временно заблокирован, регион переходил на «натуральное хозяйство» с установкой

[51] История Дальнего Востока СССР: период феодализма и капитализма (XVII в. – февраль 1917 г).– Владивосток.1983.

на автаркию, выживал. Выживать он начинает и в 1990-е годы – но в принципиально ином, чем прежде, окружении.

Падение «железного занавеса» поставило Дальний Восток России лицом к лицу с наиболее интенсивно развивающимися экономиками мира. Азиатские «ворота в глобальный мир» оказывались гораздо ближе и доступнее, чем собственные, «национальные ворота». Их агрессивная экономика остро нуждалась в природных ресурсах, которыми богат регион, и готова была за них платить. Расцвет «челночной» торговли, всколыхнувший население региона, и приватизация дальневосточной части «советского трофея» создали необходимые для включения в международную торговлю накопления.

В отличие от «большого трофея», который делился «на западе», в европейской части страны, дальневосточный «трофей» носил довольно специфический характер. Он состоял в основном из предприятий ВПК, чей «продукт» был не особенно рентабелен, а торговля им шла в разрез с интересами государства. Не случайно наиболее современные предприятия региона пребывают сегодня в жалком состоянии в ожидании федеральных вливаний. Гораздо большую ценность имели «побочные» виды деятельности: вылов ценных пород рыб и иных морепродуктов (рыболовецкие флотилии), добыча полезных ископаемых, лесные деляны и т.д. За них и велась борьба в первой половине 1990-х годов. Бесспорно, рыбу вполне можно было бы потребить на месте, а из леса – настроить избы, но торговля приносила качественно больший доход и торгующим, и Дальнему Востоку в целом. В кратчайшие сроки доходные виды внешнеэкономической деятельности становились массовыми, обрастали подсобными и смежными производствами, так или иначе втягивая в себя подавляющую часть населения. Спортивные ассоциации и комсомольские органы, рабочие бригады, землячества и университетские кафедры в 1990-е годы почти мгновенно развернулись в бизнес-сети, чему способствовала традиционная сетевая структура социальной ткани региона.

Через приграничную торговлю регион постепенно включался в глобальный товарооборот. Навстречу лесу, рыбе и полезным ископаемымшли товары народного потребления, вычислительная техника, автомобили, валюта (судя по косвенным данным, баланс теневой торговли был активным) и многое другое. Конечно, регион интегрировался в АТР не совсем так, как мечталось идеологам Дальнего Востока, не в статусе постиндустриального центра, но в качестве поставщика ресурсов, то есть в качестве «хоры», а не метрополии. Но даже такое положение делало традиционные виды деятельности доходными и экономически эффективными, особенно если учесть, что основной оборот товаров и финансов протекал вне государственного фискального контроля и, следовательно, имел все преимущества «льготного налогообложения».

Показательно, что в середине 1990-х годов стоимость потребленныхнаселением Дальнего Востока услуг почти на 40% превышала его совокупный ВРП [52]. Примерно так же соотносились «заявленный доход» и номинальная заработная плата. И хотя просчитать точный объем «теневого оборота» товаров и услуг в регионе, тем более в условиях трансграничного взаимодействия, чрезвычайно сложно, приведенные данные говорят о его крайней значительности.

В первой половине 1990-х годов, в «романтический» период развития отечественного бизнеса, функции обеспечения экономического порядка и поддержания бизнес-культуры в регионе, как и по всей стране, осуществляли, прежде всего, криминальные структуры. Преступный мир Дальнего Востока оказался наиболее организованным и наименее «отягощенным» наследием советской патерналистской психологии силовым сообществом. В результате именно он и стал регулятором отношений в самых доходных секторах нарождающегося бизнеса. Однако уже к концу 1990-х годов региональной власти удалось вытеснить его из сферы «производства порядка», что связано не только с бесспорными преимуществами государства в осуществлении насилия, но и с новым уровнем организации бизнеса.

Из приграничной торговли он превратился в сложную систему экономических связей, вполне интегрированных в глобальную экономику и дистанцированных от экономики остальной части страны (в России потреблялось менее 4% продукции региона). Немаловажно и то, что в силу своей абсолютной незаконности криминальные структуры не могли организовать диалог с центром и тем самым обеспечить бизнесу необходимый для активного международного сотрудничества уровень легальности. Региональные власти с этой задачей справились. Бизнес-сообщества Дальнего Востока постепенно срастались с властными сетями в регионе и бизнес-структурами за его пределами.

На рубеже столетий, еще до подъема цен на энергоносители, когда наРоссию обрушился шквал нефтедолларов, регион вступил в полосу хозяйственного расцвета. Обеспечившая его деятельность, хотя и обрела определенную степень легальности и была абсолютно легитимной в сознании жителей региона, носила в основном «серый» характер и потому относительно слабо отражалась в статистике. Зафиксированные в официальных данных тенденции развития Дальнего Востока полностью укладывались в структуру дальневосточных «страшилок», мало чем отличаясь от присущих большей части депрессивных регионов.

В сознании властей предержащих (и не только их) Дальний Восток оставался «пустым». В невидимом же пространстве происходило

[52]Заусаев В.К. Стратегический план устойчивого социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года. – Хабаровск.2009.

становление сложной и динамичной системы. Участие в мировой торговле, незначительное в процентном выражении (менее 3% от совокупного оборота стран СВА), но вполне достаточное для населения региона, дало толчок росту внутрирегионального потребления. Дальний Восток строится, обзаводится социальной сферой, которой он был лишен все годы освоения. Дальневосточные капиталы инвестируются и в экономику региона, и в экономики сопредельных стран (Китая, Кореи, Канады и др.). Рабочих рук начинает не хватать. На помощь приходят соседи. В строительстве, лесном секторе, сельском хозяйстве граждане Китая и не менее многочисленные, хотя и менее популярные среди отечественных СМИ граждане Северной Кореи постепенно вытесняют местных работников – точнее, последние по большей части предпочитают иные, не столь трудозатратные и более доходные сферы деятельности.

Дальний Восток не то чтобы процветал – ведь он оставался лишь «хорой», «придатком» постиндустриальных центров, – но все же вполне успешно выживал и даже развивался. Вразрез с традициями освоения дальневосточных территорий, переход в «режим консервации» не привел к качественному сокращению или деградации региональной структуры. Структура не сократилась, но трансформировалась, включив в себя множество новых элементов. Возникает сложная логистическая сеть. Формируется сеть ресторанов достаточно высокого класса, сложный и разветвленный автосервис. Интенсифицируется местная культурная жизнь, организуются фестивали, создаются новые театральные коллективы. Появляется масса подсобных производств: от бирж и страховых обществ до предприятий по сборке компьютеров и дорожных машин. Развивается индустрия гостеприимства. Региональные столицы обзаводятся необходимым лоском.

Как некогда массированные контакты между Россией и Китаем вызвали к экономической жизни Китайскую Манчжурию, так на рубеже столетий контакты с сопредельными государствами позволили выжить дальневосточной окраине России. Как и тогда, это стало возможным благодаря мощному взаимопроникновению культур, экономик, социальных сетей. Крайне неприязненное отношение к китайцам, преобладавшее в середине 1990-х годов, все больше сменяется нейтральным, прагматическим. Не редкостью становится и восхищение деловыми качествами китайских партнеров.

В конце XIX – начале XX столетия территорию КВЖД и Ляодунский полуостров называли «желтороссией», тем самым подчеркивая значимость русского элемента в социально-экономической и культурной жизни Северного Китая. Сегодня этот термин вполне уместно применить к южной части Дальнего Востока и Тихоокеанскому побережью России. Именно социальные сети «желтороссии» и оказались под ударом в период

экономического подъема РФ в «нулевые» годы. Причина проста. Страна вновь вспомнила о наличии дальневосточных территорий.

Более того, у него появились ресурсы, которые можно было направить на их освоение, ведь согласно официальной статистике и неофициальной мифологии они были пусты, бедны и остро нуждались в инвестициях. И инвестиции (под федеральные целевые программы) потекли в регион, а вместе с ними пришли и новые жесткие правила игры, почти никак не соотносившиеся со сложившимися. Здесь-то и возникло противоречие, порой выливающееся в открытые акции гражданского неповиновения, но по большей части выражающееся в форме более или менее явного оппортунизма как «оружия слабых».

В сознании дальневосточников происходящие процессы все чаще осмысляются не столько как освоение, сколько как подчинение Дальнего Востока, превращение его в колонию. Соответственно, прежнее существование трактуется как самостоятельное, свободное.

Огромные вливания в экономику региона, если нет возможности перераспределить их в интересах местного сообщества, воспринимаются как форма колонизации, способ захвата территории. Отсюда всплеск общественного интереса к поиску самоопределений дальневосточников, описаниям их особости. И здесь немалую роль играют контакты с Китаем, которые, по мысли ряда идеологов и исследователей , порождают новое качество населения. Если в начале постсоветского периода близость к Китаю трактовалась как угроза, то сейчас она все чаще интерпретируется как ресурс, притом такой, который нужно оберегать – прежде всего, от Москвы.

Все это предельно наглядно проявилось в ходе подготовки и проведения саммита АТЭС во Владивостоке. Казалось бы, ситуация уникальная, и Дальний Восток действительно выходит на авансцену российской политики, становится основой для общенационального проекта «восточного поворота», «ворот в Азию», способных уравновесить «окно в Европу». Попробую чуть подробнее раскрыть этот посыл.

В период, когда Европа процветала, а Азия оставалась глухой мировой провинцией, вариант «восточного развития», о котором впервые зашла речь в конце XIX в., был не более чем политической экзотикой, лишенной экономического смысла. Отсюда колебания и нерешительность Санкт-Петербурга, приведшие к позору Русско-японской войны 1904–1905 гг[53].

Сегодня положение иное. Европу лихорадит, причем ощущения, что больной идет на поправку, не возникает. Исландия, Греция, Испания и Португалия все глубже увязают в пучине кризиса. На очереди Италия и Словакия. В этих условиях стремление решить проблемы «родных» за счет

[53] Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII — начале XX века (1640 — 1917). – М.1985.

«двоюродных» видится почти неизбежным. Более того, все попытки нашей страны (впрочем, довольно робкие) закрепиться в каком-либо секторе, кроме поставки энергоресурсов, гасятся на корню. Ситуация вполне устраивает Европу. Но устраивает ли она Россию? Все большее распространение получает мнение, что на жестко структурированном европейском рынке места для нас просто нет. Тут и всплывает «восточное направление». Рынок АТР сейчас существенно шире европейского, гораздо более динамично развивается, остро нуждаясь в сырье, и не только сероводородном. Главное же, на этом рынке место для России не то чтобы готово, но потенциально имеется.

Беда в том, что Россия соприкасается с АТР регионом, который на протяжении почти всей своей истории был не торговой территорией, а крепостью. Именно под эту задачу выстраивались его промышленность и транспортная сеть, основывались города и заселялись пространства. С европейской частью страны Дальний Восток связывают узкая полоска Транссиба, плохо проложенная автомобильная трасса и не блестящее авиасообщение. Промышленный потенциал региона составляют предприятия ВПК, чья затратность традиционно компенсировалась заявлениями, что «на политике» мы не экономим. Иными словами, в случае «поворота на Восток» на ключевую роль выдвигается регион, принципиально для этого не приспособленный. Значительная часть его населения продолжает мыслить в категориях военного форпоста, ностальгировать по временам, когда этот тип мышления имел под собой основания. Его промышленность предельно нерентабельна, транспортная инфраструктура пребывает в зачаточном состоянии, а энергетика устроена настолько нерационально, что даже наличие энергетических мощностей не решает проблемы. Все это так, во всяком случае, на уровне официальных отчетов. Именно это и приводило к бесконечным колебаниям всякий раз, когда возникала идея «выхода в АТР».

Но сегодня существует реальный шанс изменить ситуацию. Во-первых, у страны пока еще есть ресурсы для преобразования региона. Во-вторых, на протяжении почти двух десятилетий дальневосточники на свой страх и риск при минимальной поддержке со стороны государства интегрировались в АТР. Больно, плохо, но интегрировались. Число жителей региона, для которых сопредельные страны перестали быть чем-то неведомым, постоянно растет. В-третьих, альтернативы «восточному повороту» ни у России, ни у российского Дальнего Востока, похоже, нет. В рамках этого проекта находится место и для федерального центра, и для местных элит, и для России в целом. На первый взгляд, неожиданное, но желанное совпадение интересов Москвы, дальневосточного бизнеса, населения страны, страдающего без «объединительных скреп», да и деловых кругов самих сопредельных государств.

Однако сплочения рядов не наблюдается. Напротив, все усиливается поиск особенных черт дальневосточника, выделяющих его из общей массы россиян. Отчасти это связано с тем факультативным обстоятельством, что появление видимых контуров «восточного поворота» совпало по времени с политическим кризисом 2011/2012 гг. Соответственно, сам смысл проекта трактовался в контексте протестных действий. Конечно, это во многом помешало идее восточного поворота стать консолидирующей основой для новой политической нации, да и просто получить внятную артикуляцию. Но было и иное. Модернизационные проекты, реализуемые и планируемые в регионе, вошли в противоречие с интересами сложившихся за десятилетия локальных территориальных общин, их практиками социальной и хозяйственной деятельности.

В своей нашумевшей книге о причинах провала проектов улучшения условий человеческой жизни Дж.Скотт рассматривает взаимодействие локальных общин, выживающих в ситуации, когда, по мнению «цивилизованного человека», они должны гибнуть, и государства. Государство («богатые» в терминологии Скотта) с его представлениями о нормальности стремится к несомненно благородной, на его взгляд, цели. Оно хочет сделать жизнь «бедных» (локальной общины) лучше, дать им работу, зарплату, систему социальных гарантий, то есть те самые классические общие блага, которые и делают его существование легитимным. Но глупое сообщество «бедных» совершенно не желает отказываться от сложившегося образа жизни и опробованных практик взаимной поддержки. С его точки зрения, старания «богатых», будучи полезными для части сообщества, являются губительными для него как целого. Не менее важно, что внедряемые новации меняют статусную структуру сообщества, лишая его лидеров привычного положения. В зависимости от обстоятельств это противоречие может принимать форму открытого противостояния, но скорее будет проявляться в виде противодействия модернизационным усилиям «богатых» (государства).

Подобный сценарий и реализуется сегодня на Дальнем Востоке России. И если в крупнейших городах ДФО это противодействие сглаживается возможностью использовать ресурсы бюджета, наличием значительного числа государственных служащих со стремительно растущей зарплатой и высокооплачиваемых представителей культурного и интеллектуального истеблишмента, а также мультиэффектами, которые порождает присутствие массы состоятельных (платежеспособных) людей, то в малых городах ситуация иная. В качестве примера здесь будут рассмотрены три дальневосточных города – Дальнереченск (Приморский край), Амурск (Хабаровский край) и Биробиджан (Еврейская автономная область).

Города разные и по времени возникновения, и по принципам организации территориального сообщества. Но именно это сообщество,

представляющее собой некий аналог общины, становится в них основой для выживания. Важно и то, что эти города в большей или меньшей степени оказались «не интересны» центральной власти. Там не было ни порта, ни уникальных месторождений полезных ископаемых, там не конденсировалось политическое влияние. Там была «лакуна», своего рода «прореха» в правовом и политическом пространстве, что и позволило родиться особому неформальному порядку.

Термином «община» в настоящей работе я обозначаю неформальное объединение людей, ведущих совместное хозяйство на некоей территории и осознающих свою общность. Специфика исследуемых городов заключается в том, что те виды деятельности, которыми в них формально занимаются члены общины, довольно опосредованно связаны между собой. Однако через отношения взаимопомощи и участия людей в рисковых обстоятельствах друг друга эти виды деятельности начинают составлять единое «комплексное хозяйство», цель которого – выживание общины. Наличие таких общин и дает основания для сопоставления данных территориальных объектов. Различия же между ними позволяют выявить условия, в которых этот способ социальной организации остается функциональным.

Для анализа социальной ткани рассматриваемых городов и структуры местного сообщества зимой 2012/2013 гг. было проведено эмпирическое исследование в виде серии биографических интервью. Всего было собрано 45 интервью (12 – в Амурске, 16 – в Дальнереченске, 17 – Биробиджане). Среди респондентов – сотрудники областной администрации, муниципальные служащие, предприниматели, работники местных производств, врачи, преподаватели вузов, учащиеся, пенсионеры и др. Кроме того, были проинтервьюированы три студента Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск), приехавшие из изучаемых городов.

Дальнереченск, районный центр Приморского края, расположен в пограничной полосе с КНР. До краевого центра 430 км. Население (по последней переписи) 27604 человека. На территории городского округа проживают 30780 человек. Средний возраст 36,7 лет.

Исторически город возник в 1859 г. как казачья станица Графская, названная в честь Н.Н.Муравьева-Амурского. В 1894 г. в связи со строительством железной дороги на месте станицы был создан город Иман. Помимо железнодорожного узла там располагались деревообрабатывающие предприятия (лесопилки) крупнейших промышленников региона Скидельских и Стрелецких, представительство торгового дома «Кунст и Альберс», таможня, развивалась винокуренная, пищевая промышленность. С момента основания в Имане дислоцировались многочисленные военные части (казачьи и пограничные),

а также речная флотилия. С военными частями была связана деятельность городских «кустарей».

В советский период ключевым направлением городского хозяйства являлась деревообработка. Функционировали Приморский деревообрабатывающий комбинат, Дальнереченский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, лесозаготовительные конторы, Бондарный завод по производству тары для рыбной отрасли Приморья. На основе местных запасов песка, щебня и гравия осуществлялось производство строительных материалов (завод «Кирбет», цементный завод). Продолжала развиваться пищевая промышленность – хлебокомбинат, мясокомбинат, колбасный цех и др. До недавнего времени в городе базировались Отдельная бригада сторожевых кораблей, батальон связи, ряд пограничных застав.

В постсоветский период предпринимались попытки организовать в Дальнереченске крупный центр деревообработки, однако ввиду крайне дорогой электроэнергии и наличия дешевых китайских изделий они не увенчались успехом. На сегодняшний день в городе работает лишь Приморский деревообрабатывающий комбинат, число работников которого по сравнению с советскими временами многократно сократилось (с 2,5 тыс. человек до менее чем двухсот). С ДОК связано несколько торговых предприятий. Пищевая промышленность представлена ОАО «Пекарь» и птицесовхозом «Соловьевский». Принципиально уменьшилось количество военных частей и соответствующей инфраструктуры.

Значительная часть населения Дальнереченска занята на обслуживании Дальневосточной железной дороги. В городе расположены три железнодорожные станции (Дальнереченск I, Грушевое и Лазо), а также пристань на р. Большая Уссурка (в настоящее время ее хозяйственное значение минимально). В целом на ключевых предприятиях города, включая железную дорогу, трудится менее 5 тыс. человек.

В 1990-е годы в Дальнереченске активно развивался «челночный бизнес». Даже сегодня там действуют два рынка, однако этот вид занятости стремительно сокращается. Через город проходит трасса федерального значения «Уссури» (Хабаровск – Владивосток). В связи с этим определенное значение приобретает индустрия гостеприимства (придорожные кемпинги, две гостиницы, кафе и рестораны).

Основой социальных отношений в Дальнереченске выступает многопоколенная семья. С родством считаются, его ценят и используют.

«*Обратилась ко мне тетка. Типа надо помочь с работой сыну. Так я недели три пробегал. Весь город на уши поставил. Понятно, решил вопрос. Но скольким я потом был должен, не пересчитать. А отказать? Как откажешь?! Да, сын-бездельник, беда ходячая. Но она-то сестра матери. А там может и к ней обратиться придется. Если заболеет кто*» (мужчина, 54 года, бригадир ДОК).

Контакты с большой семьей, плотность родственных связей, да и сама функциональность этих связей сохраняются и при переезде бывших жителей города в Хабаровск или Владивосток.

«*У меня муж сестры двоюродной ремонт делал. Ну, договорились. Я заплатила. А он тянет. Там дел на четыре дня. А у него неделя проходит, другая. И ничего толку. Типа, извини, сестренка, работа выгодная подвернулась. Я терпела-терпела, а потом сестре все и выдала, что расскажу в Дальнем, как они с родней себя ведут. Так он сам прибежал, за два дня все сделал*» (женщина, 25 лет, сотрудница МВД).

Семьи проживают в городе не одно поколение, что и предопределяет прочность родственных связей, делая их все более разветвленными. В большие семьи могут входить и иные акторы – соседи, школьные друзья, знакомые по работе. Они составляют функциональную «периферию» общины, служат пространством взаимодействия между общинами.

«*Вот в том домике, ближе к реке, тоже наши друзья живут. Он в нашей больнице много лет гинекологом был. Считай, пол городу пуповины перевязывал. Он уже давно на пенсии. А все равно. Мы как что к ним бежим. Ну и помогаем, понятное дело*» (женщина, 54 года, предприниматель).

Амурск, районный центр Хабаровского края, заметно крупнее Дальнереченска. Население муниципального округа – 45623 человека (города – 43420 человек). Средний возраст горожан – 49,3 года. В отличие от Дальнереченска, обладающего, по дальневосточным меркам, изрядной историей, Амурск – типичный советский рабочий поселок. В 1958 г. начинается строительство целлюлозно-картонного комбината недалеко от села Падали-Восточное, в 1960 г. оно объявляется всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройкой, и поселок городского типа Амурск становится райцентром. В 1973 г. он получает статус города. Город расположен вдоль амурской протоки Сандинка. До ближайшей железнодорожной станции – 18 км. Автобусное сообщение с Комсомольском-на-Амуре (45 км) и Хабаровском (328 км), летом действует также сообщение по р. Амур. Помимо целлюлозно-картонного комбината (ООО АмурДОК), в городе существует завод «Вымпел» (оборонное производство), горно-металлургический комбинат группы «Полиметалл», ООО «Амуркамень» и ряд других предприятий.

До самого недавнего времени все эти промышленные объекты либо были остановлены (в том числе ЦКК, где трудилось до трети трудоспособного населения города), либо работали с частичной загрузкой. И хотя уже много лет существует проект технополиса «Комсомольск–Амурск–Солнечный», частичное восстановление промышленности в городе началось только на закате «нулевых» годов в связи со значительными государственными инвестициями.

По сравнению с 1989 г., когда в Амурске проживало около 60 тыс. человек, его население уменьшилось примерно на четверть. Основные направления миграции – Комсомольск-на-Амуре и, несколько меньше, Хабаровск. Причем уезжает, прежде всего, молодежь (что, бесспорно, сказалось, на демографической структуре города). Уезжают и наиболее квалифицированные работники. В результате, несмотря на существующую в городе безработицу, там ощущается острая нехватка кадров. Не случайно промышленное строительство в Амурске осуществляется главным образом региональными фирмами, минимально использующими местную рабочую силу. На вопрос об основной сфере занятости населения один из респондентов в ходе пилотного интервью ответил: «Криминал». Но поскольку статистика преступлений по городу и району ниже, чем в соседнем Комсомольском районе, можно предположить, что речь идет, прежде всего, о неформальном характере трудовой активности.

Социальная ткань в Амурске изначально задавалась не большой семьей, а заводом и цехом. Подавляющее большинство жителей города составляли приезжие, и не только из Хабаровского края, но и из других регионов страны. Семьи, дружеские привязанности и сами основания коммуникации складывались уже по приезду в город (поселок). Как и большая часть подобных поселений, город строился по принципу микрорайонов. Люди, работавшие в одном цехе, на одном предприятии жили в одних и тех же домах, вместе отдыхали, водили детей (а то и сами ходили) в одни и те же детские сады и школы и т.д. Все это приводило к формированию сильных неформальных связей, распространявшихся намного дальше, нежели производственная сфера.

«*У нас все было, как сказать, совместное, что ли? Коммунизм такой* [смеется]. *Жены детей друг на дружку перекидывали. …Крикнет: “Пригляди за моим!” – и убежит. Вместе в дом отдыха, вместе в ДК. Ну на работе вообще понятное дело. Здесь сосед с третьего этажа, а здесь – со второго. А там – из подъезда рядом. Очень дружно жили. Привыкли – все вместе. И дети наши вместе росли. В одни школы ходили, в одних кружках занимались. Это Амурск. Здесь каждый друг за друга*» (мужчина, 64 года, пенсионер).

«*У нас все стараются, чтобы в дело соседей… привлекать. Рядом живут, знают друг про друга все. Свои. Такие не кинут. Если что, наоборот, впишутся за друга. Мы не как в Хабаровске. Мы вместе все живем. Дело вместе, баня вместе, охота, опять же, с соседями сподручнее*» (мужчина, 41 год, предприниматель).

Но при всей разветвленности сетей, охватывающих, по словам респондентов, десятки человек, их плотность невелика. Многие из уехавших сохраняют связь только с ближайшей родней. Не очень склонны поддерживать прежние контакты и лица, добившиеся успеха, сделавшие

административную карьеру в городе и районе. Это достаточно четко проявляется, в частности, в интервью с работниками муниципалитета.

«*Мы стараемся, по возможности, не ходить в бани, на застолья. Тут коррупция и начинается. Знаете, не так трудно отказаться от денег. Придет такой орел, а ты его и пошлешь в… Сами понимаете. Даже приятно смотреть на его обалдевшую физиономию. А как отказать другу, приятелю? Здесь труднее. На этом раньше многие палились, особенно вначале. Сейчас другое время. Возможности другие. Сейчас это никому не надо. Надо просто нормально работать*» (мужчина, 43 года, работник муниципалитета).

Самым крупным из изучаемых объектов является Биробиджан, административный центр Еврейской АО, расположенный вдоль р. Бира (приток Амура) и Транссибирской магистрали (станции Биробиджан I, II и III). Население 75413 человек. Средний возраст – чуть больше 34 лет. Стоит отметить, что Биробиджан был первой на Дальнем Востоке попыткой создания «идеального социалистического города» – правда, еще менее удачной, чем «город-на-заре» (Комсомольск-на-Амуре).

Возникнув в 1912 г. в качестве железнодорожной станции Тихонькая (первоначально – заимка Тихонького), в 1928 г. будущий Биробиджан стал центром переселения «трудящихся евреев», а в 1934 г. получил статус города. В настоящее время в городе развивается преимущественно легкая промышленность на основе местной сельскохозяйственной продукции и природных ресурсов. Частично функционирует завод силовых трансформаторов (40 работников) и авторемонтный завод. Крупнейшее в прошлом предприятие «Дальсельмаш» распалось на ряд мастерских, осуществляющих ремонт сельскохозяйственной техники для нужд возрождающегося производства бобовых.

Значительное место в хозяйстве Биробиджана занимает взаимодействие с сопредельными территориями КНР (прямая железнодорожная ветка связывает город с таможенным переходом в с. Ленинское). С 2004 г. в городе размещается управление Кимкано-сутарского горно-обогатительного комбината, строящегося в области. Именно с этим комбинатом связаны сегодня надежды и областной, и городской экономики. Китай, заинтересованный в продукции комбината, строит дорогу и мост для ее транспортировки.

Несмотря на статус областной «столицы», в 1990-е годы город переживал трудные времена. Блокирование связей с Хабаровским краем, частью которого ЕАО была до 1990 г., повлекло за собой спад как промышленного, так и сельскохозяйственного производства. Альтернативой этим сферам занятости становится челночное движение, развитие малого предпринимательства, активизация меновой торговли с селом (обмен продуктов на «городские товары»). Именно в этот период и начинают устанавливаться контакты с КНР. Первоначально, как и в

Дальнереченске, речь шла о приграничной торговле. Позже стали возникать совместные предприятия по производству и переработке бобовых культур, ориентированные на китайских потребителей, строительные и ремонтные компании. Сокращение внутрирегионального рынка компенсировалось выходом на рынок сопредельной державы.

В «нулевые» годы федеральные трансферты дают толчок развитию строительства и производства стройматериалов, китайские предприниматели «поднимают» сельское хозяйство области, а вслед за сельским хозяйством появляется пищевая, мебельная, швейная промышленность и т.д. Но даже в условиях относительного подъема основой хозяйства области остаются бюджетные деньги, выделяемые Москвой и распределяемые местной властью.

Мне уже доводилось писать о специфике социального взаимодействия в ЕАО. Совмещение (примерно в равных пропорциях) традиционных устоев еврейской семьи с многопоколенными общинными сетевыми структурами казачьего населения привело к формированию крайне разветвленных и устойчивых семейных и местных связей. Тем более что, в отличие от большинства других дальневосточных территорий, примерно с середины 1930-х годов ЕАО перестала быть центром переселенческих потоков и ее население росло главным образом за счет естественных процессов демографического воспроизводства. Более того, здесь возникла специфическая идеология, позволяющая объединить все «местное», в том числе национальный статус области и ее столицы. Как отмечалось в нескольких интервью, в области сложилась особая общность людей – «*евреицы*». Это осознание собственной «особости» пронизывает территориальное сообщество Биробиджана снизу доверху, делая его необычайно плотным. Если жителям Дальнереченска и Амурска приходится решать проблему самоопределения, то здесь ответ достаточно очевиден.

В советский период роль семейных и местных связей как инструмента выживания была очень невелика. Они скорее формировали неявный (хотя и ощутимый) фон жизни, определяли внепроизводственные контакты, сказывались в досуговых и теневых сферах, составляя те самые «невидимые», подавленные государством структуры. Но по мере того как существовавший режим начинал давать сбои, они все больше выходили на поверхность. Уже в последние советские годы, по воспоминаниям респондентов, их значимость заметно возросла. Дружба и приятельство, родство и соседство служили страховкой для «несунов», становились основанием для экономики обменов – краску на продукты, одежду на пиломатериалы и т.д.

Несмотря на различия в природе и плотности социальных связей внутри общины, ее функции в рассмотренных городах оказывались очень близкими. Община была призвана обеспечить выживание и безопасность

своих членов. Чем сильнее деградировала «официальная» экономика, тем заметнее проявляли себя общинные формы жизни. Более того, существовал процесс, который вел к их усилению.

Так сложилось, что даже в советские годы, отличавшиеся относительно высоким уровнем притока новых жителей на Дальний Восток, в Дальнереченск и Биробиджан прибывали не многие. Да и в Амурске «прибытие» завершается уже в 1980-е. Дальнейший рост населения городов (продолжавшийся до 1990 г.) шел за счет естественного прироста при относительно молодом населении. Отток в «нулевые» тоже осуществлялся своеобразно. Отъезд на запад, в европейскую часть страны, был характерен скорее для крупных региональных центров. В исследуемых же городах массовым явлением (если не считать сравнительно массовой эмиграции в Израиль из Биробиджана в начале 1990-х годов) было переселение в ближайший крупный город. Для Амурска – это Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск, для Биробиджана – Хабаровск, для Дальнереченска – Хабаровск и Владивосток. При этом уезжали, особенно в начальный период, самые мобильные, наименее связанные с общинной структурой. В свою очередь, в малые города перебирались жители прилегающих сел, леспромхозов, а также так называемых «северов». Ресурсом же, используемым при переезде, выступали родственные и дружеские связи.

«*У нас многие перебрались в Дальнереченск. В основном родня из деревень. Здесь не Хабаровск, но все-таки больница есть, магазины, с работой проще. <…> Вот, например, дочка моей сестры. Она у нас два года жила, пока в техникуме училась. Потом и на работу ей помогли устроиться. А там она и мать, и братьев перетащила. Теперь все здесь живут*» (женщина, 54 года, предприниматель).

Понятно, что эти связи продолжали поддерживаться и дальше. Тем самым число людей, ориентированных на общинные формы взаимодействия, возрастало.

В 1990-е годы, когда государство («богатые»), по сути, утратило интерес к малым городам, значение общины резко увеличилось. Территории городов, если там не было порта, нефтеносных или золотоносных месторождений, попросту выпадали из поля зрения властей. Сообщества городов становились относительно замкнутыми, предоставленными сами себе. Выживание в одиночку выработало только одну успешную стратегию – отъезд. Оставшимся жителям пришлось ориентироваться на групповые формы выживания.

«*Живем, как можем. Друг другу помогаем. <…> Я, считай, всех одеваю. Муж, если нужда в строительстве, распилить чего, доски, это к нему. Бензин, солярка, всякий авторемонт – это к С. Мы же все вместе ему дело ставить помогали. Теперь он нам помогает. Вот К. свиней разводит. Я тоже держу, но для себя. А она – на продажу. Так В. ей*

*остатки всякие из столовой, Ф. комбикорма подгонит. Я договорюсь на рынке, чтоб товар взяли на реализацию, или в ресторане на вокзале. Нормально живем*» (женщина, 54 года, предприниматель).

Подобное сообщество позволяет минимизировать издержки, использовать все мыслимые источники выживания. Каждый член общины выполняет две функции – функцию собственно работника или предпринимателя и функцию участника предприятий других членов общины.

«*Без родни сейчас никуда. Они и денег дадут, если в Китай съездить за шмотьем. Они с врачом помогут. Когда рынок кормить перестал, я стала тамадой подрабатывать. Так первое время все заказы через родню шли. Ну и сама я всегда помогу. Вон дочь двоюродной сестры, когда в техникуме училась, все время у нас жила*» (женщина, 54 года, предприниматель).

При этом участие это отнюдь не добровольное. Отказывающий в помощи «своему» автоматически подвергается санкции со стороны всех остальных, вплоть до полного исключения из системы взаимопомощи.

Сама структура общины в минимальной степени иерархична. Скорее можно говорить о «ядре общины», включающем в себя относительно небольшое (порядка 7–9 человек) число родственников или ближайших соседей, и «периферии», которая может быть очень значительной. Представители «ядра», как правило, знают всех участников сообщества, тогда как члены «периферии» могут знать только «ядро». Однако присутствуют и традиционные формы презентации общины, встречи «всех» (свадьбы, похороны, дни рождения и т.п.).

Важной особенностью общины является и ее пребывание в пространстве «вне закона». В глазах относящихся к ней социальных агентов закон выступает как одна из угроз существованию сообщества. Вынести с работы пиломатериалы или поделиться вырезкой от только что забитой собственной свиньи для них вещи одного порядка.

«*По закону… уж совсем жить не получается. Мы же как, ничего важного никто не нарушает. Мы не воруем, не убиваем, не насилуем. У нас даже особых алкашей не водится. А так, ну бывает, нарушишь. Если нормальный мент или знакомый, всегда же договоришься*» (мужчина, 43 года, предприниматель).

Формальное законодательство здесь заменяется спонтанно возникающими, но устойчивыми правилами, освещенными жизненным опытом, обрастающими санкциями за неисполнение и моральным одобрением для тех, кто их соблюдает. Понятно, что эти правила работают только на локальном уровне. Попытка руководствоваться ими при «внешнем» взаимодействии вполне могла породить конфликт вроде того, что произошел между мэром Амурска и губернатором Хабаровского края на рубеже XX–XXI вв.

Однако в условиях, когда правила игры «наверху» носят столь же неформальный характер (а такая ситуация на Дальнем Востоке сохранялась почти до конца «нулевых» годов), согласование интересов остается возможным. Иначе складываются отношения территориальной общины с формальным законодательством.

Поскольку основные практики общинного взаимодействия формируются «поверх закона», возвращение государства и ужесточение правил игры губительно для территориального сообщества. Не случайно в «нулевые» годы начинается более или менее очевидное противостояние подобных сообществ и власти. И в этот момент отчетливо дают о себе знать различия в принципах организации общины и плотности социальных связей.

Пожалуй, тяжелее всего столкновение с государством переживает территориальное сообщество Амурска, где сетевые связи изначально были несколько слабее, чем в других анализируемых здесь городах, а государственное воздействие оказалось самым сильным.

Дело в том, что город вошел в сферу интересов двух крупных компаний («Полиметалл» и «Дальлеспром»), чьи проекты (металлургический комбинат «Албазино» и целлюлозно-картонный комбинат) получили федеральное финансирование. Благодаря трехстороннему договору между компаниями, городом и государством за период с 2010 по 2012 г. отчисления в бюджет Амурска выросли в шесть раз. На эти деньги были реконструированы многие социальные объекты, обновлена дорожная инфраструктура и т.д.

Тем не менее, как видно из интервью, это вызывало энтузиазм только у лиц, так или иначе входящих в управленческие структуры города и самих строящихся предприятий. Для других жителей Амурска характерно скорее негативное отношение к происходящим изменениям. В качестве причин их неприятия упоминаются коррупция во властных органах, отсутствие активной социальной политики, незнание «местных условий».

«*Да они эти все проекты «пробили» только для того, чтобы навариться на них, лихие деньги сорвать. Все же это знают. Весь Амурск знает. Ну и с нашими поделились, конечно. Чтобы те не возбухали*» (мужчина, 64 года, пенсионер).

«*Все это никому не нужно. Сколько денег угробили на ДК! Лучше бы мусор стали регулярно вывозить. Сейчас еще ладно, холодно. А летом, знаешь, какая вонь стоит. Или, там, снег убирать. Только в центре пятачок расчистят, а людям хоть из дома не выходи. Переломы сплошные. У меня продавец недавно руку сломала. Сама вся в синяках хожу*» (женщина, 47 лет, предприниматель).

Сходные претензии высказываются во многих интервью. Однако, как показывает анализ городского бюджета, а также наблюдение на улицах города, если они и справедливы, то лишь отчасти. И спортивные

сооружения, и кинотеатр, и Дом культуры (где регулярно проводятся городские мероприятия и два раза в день демонстрируются кинофильмы) посещаются активно. При ДК действует народный театр, в работе которого участвует более 50 амурчан, и его спектакли пользуются успехом.

Проведена реконструкция центральных улиц города и трассы, соединяющей Амурск с Комсомольском-на-Амуре. Отремонтированы два профессиональных училища, увеличены зарплаты педагогов, возросло и число поступающих. Идет работа по реконструкции городского парка. Да, действительно, снег в городе убирается не лучшим образом, подходы к подъездам завалены. Но это проблема не только Амурска, но и большей части дальневосточных городов. То же можно сказать и о вывозе мусора и благоустройстве межквартальных территорий.

Отдельная проблема – ветхое жилье и недостроенные объекты. В последние советские годы в городе было заложено более двух десятков многоквартирных домов. Предполагалось, что туда переедут жители возведенных в свое время деревянных домов и общежитий, однако строительство завершено не было. Между тем отслужившие свой срок деревянные строения окончательно приходят в негодность. Их жители переселяются в опустевшие в связи с массовым отъездом в 1990-е годы дома, но средств на снос ветхого жилья в городском бюджете недостаточно. Тем не менее в последние годы начинает решаться и эта проблема. Четыре дома уже реконструированы и достроены (за счет «Полиметалла» и «Дальлеспрома»), три ветхих дома разобраны. Иными словами, претензии горожан не вполне обоснованны. Эту точку зрения отстаивают представители местного самоуправления.

«*Я не знаю, что им еще нужно? Тарелочку с неба? Все, что можем, мы делаем. Город благоустраиваем, пенсионерам помогаем, культурные учреждения ремонтируем. Еще пять лет назад всего этого не было и близко. Знаете, как Амурск называли? Город-призрак. А сегодня живем. Перспектива есть. А им все плохо. Мы все у них воры. От жалоб в край и в прокуратуру устали отбиваться. Просто не хотят меняться, вписываться в новую жизнь. Разве не так?*» (женщина, 43 года, работник муниципалитета).

В чем же причина негативного эмоционального фона, зафиксированного в том числе и в ходе массового опроса, проведенного в 2011 г. Дальневосточным институтом социально-политических исследований? Ответ на этот вопрос содержится в ряде интервью с представителями старшего поколения горожан. Суть его – разрушается привычная и устоявшаяся жизнь.

«*Конечно, когда Советский Союз рухнул, было очень плохо в городе. Заводы сразу закрылись. Ну, или не закрылись, так жили через пень-колоду. А потом еще этот конфликт был с краем, когда нам совсем перестали помогать. Но постепенно как-то утряслось. Кто мог, конечно,*

*уехал. А мы все потихоньку приспособились. Кто-то торговлей занялся. Кто-то так, на огороде и скотине выживал, кто-то стал таксовать до Комсомольска. Ну, пенсии платили, школы работали, училища. Ничего, жили. А теперь все это опять рушат*» (мужчина, 67 лет, пенсионер).

Этот мотив звучит и в интервью с другими жителями города, не связанными с местной властью. Негативные настроения, вызванные разрушением привычного образа жизни, устойчивых человеческих контактов, вылились в ряд прямых выступлениях: в 2010 г. горожане, выйдя на улицу, потребовали отставки местного совета депутатов, а в 2013 г. – снижения тарифов ЖКХ. При всем том, что оба этих выступления не привели к сколько-нибудь значимому успеху, острота неприятия сложившегося положения вещей городским сообществом достаточно очевидна.

Стоит отметить, что в восприятии жителей (да и на практике) администрация города выступает здесь не столько в качестве представителя интересов горожан, сколько в качестве стороны в конфликте, причем стороны, противостоящей горожанам. Сами же горожане все больше организуются не в некий «хозяйствующий субъект», а в сети «против» происходящих изменений.

Не особенно оптимистически оценивается реальность и в интервью, собранных в Дальнереченске.

«*Да какая сейчас торговля?! В прежние годы, когда клуб, где я работала, закрылся и мы начали в Китай ездить, торговля всех кормила. Сына в Хабаровске выучили. Дочку доучиваем. Все помогали. Дом, вон, строить начали. Теперь все сворачивается. Денег у людей нет. Торговли нет. А налоги платить надо. В этом году вообще и аренду, и вмененку в два раза подняли. Если бы не Миша* [муж], *не знаю, как бы жили*» (женщина, 54 года, предприниматель).

Сходным образом описывают ситуацию и другие индивидуальные предприниматели.

«*Какая торговля?! Мне знакомый из Владика предлагал партию товара под реализацию. Вроде и не мусор, а не взяла. Свое продать не могу… Если за день одну-две куртки продам – считай, удача. Так и живем*» (женщина, 46 лет, предприниматель).

«*Раньше, когда иномарки по трассе гоняли в Хабаровск, у меня нормальный оборот был. Водилы у меня все останавливались. Ели, кто-то на ночь оставался. А там и банька, и куражи. У меня и номера нормальные. Потом пошлины подняли. Стали меньше гонять. Невыгодно стало. Теперь под заказ гонят, а это в десять раз меньше. Вот обороты и падают*» (мужчина, 52 года, владелец кемпинга).

Согласно интервью, приоритеты занятости а Дальнереченске (вне зависимости от должности) выстраиваются в настоящее время следующим образом: ДВЖД, пожарная часть, мебельный комбинат, курорт

«Шмаковка» (в 62 км от города), деревообработка и деревозаготовка, частная торговля, пищевая промышленность, другие сферы. Неожиданно высоким статусом обладают работники бюджетной сферы (врачи, преподаватели техникума, пожарные, полиция) – на общем фоне их зарплаты выглядят солидными. Ресурсы города существенно скромнее, чем в Амурске, но тем не менее городские власти не вызывают столь сильного отторжения.

«*Они, как могут, так и работают. Можно было бы, конечно, лучше. Но люди есть люди. Всем жить нужно. Они не наглеют. Есть, конечно, уроды. Но так – люди, как люди. С ними всегда можно договориться*» (мужчина, 48 лет, предприниматель).

Сами работники муниципалитета очень скромно оценивают свои возможности. По их мнению, город датируется по остаточному принципу.

«*Им, во Владивостоке, нужно только, чтобы здесь все тихо было. Остальное им по барабану. Отчислений от предприятий почти нет. Торговля задыхается. А тут еще законы такие, что ужас. А виноваты во всем одни мы. Они там все чистенькие и беленькие. Люди не живут, а выживают. Потому во Владике и в Хабаровске скоро наших будет больше, чем в Дальнереченске. Бегут люди*» (мужчина, работник муниципалитета, 54 года).

Вместе с тем реальный отток из города гораздо ниже, чем можно было бы ожидать, исходя из текстов интервью. Довольно противоречивое впечатление производит и сам город. При всем том, что недостаток средств городской и районной администрации виден (нет строительства, плохо отремонтированы учреждения социальной сферы и т.д.), Дальнереченск не производит впечатления заброшенного. Особенно не парадная, а жилая его часть. Впрочем, вокзал и прилегающая к нему территория вполне благоустроены. В домах нищеты тоже не наблюдается.

Ухудшения, связанные с «возвращением» закона, очевидны. Увеличиваются налоги, повышаются таможенные пошлины, свертывается челночная торговля. Но появляются и новые виды деятельности. Активнее используются идущие еще от советских времен практики утилизации ресурсов рабочего места («*несуны*»), а также возможности подсобных хозяйств, которые постепенно становятся отнюдь не «подсобными». Наличие родственников и других членов большой семьи в крупных городах позволяет наладить эффективный обмен, торговлю. Иными словами, община продолжает выполнять свою функцию.

Стоит отметить, что внутриобщинные связи здесь сегодня заметно сильнее, чем в Амурске. Отчасти, наверное, это объясняется тем, что Дальнереченск и, соответственно, его локальные сообщества имеют более длительную историю. Однако присутствует и иной аспект. В настоящее время государство в виде федеральных и региональных властей проявляет крайне ограниченный интерес к городу и территории (исключение –

курорт Шмаковка). В результате местная власть оказывается теснее связана с населением, чем с иными уровнями управления, а само воздействие государства на общину – не столь разрушительным.

Еще более сильным является локальное сообщество Биробиджана, обладающее мощным консолидирующим потенциалом. Показательно, что, в отличие от амурчан, жители Биробиджана гордятся происходящими в городе изменениями, охотно говорят о них.

«*Вы посмотрите, как все изменилось. Конечно, старого Биробиджана немножко жалко. Но зато центр – смотреть радостно… Мрамор, фонтаны, дома нарядные. У нас и концерты проводятся регулярно. Из Хабаровска, даже из Москвы приезжают. Можно сказать, интенсивная культурная жизнь... Понимаешь, что не совсем в провинции живешь*» (мужчина, 71 год, пенсионер).

Как и в Дальнереченске, в Биробиджане крайне значим сетевой фактор. Однако строится он в данном случае не только на родственных связях, но и на знакомстве, совместном досуге, обмене услугами.

«*Знаете, какой первый вопрос здесь задают, когда на работу принимают или просто собираются общаться? Кого ты знаешь? Не что ты закончил, не какую должность занимаешь, а кого знаешь. Отсюда и отношение к тебе. Знаешь «серьезных людей», тогда ты человек. Нет? Тогда – пустое место*» (женщина, 34 года, преподаватель университета).

«*Как они контачат? Да не на работе. То есть, на работе, конечно, тоже. Но это потом. Сначала в бане парятся, на охоту ходят. Так ранг и определяется. Кто с кем в бане и на охоте. Это уже как должность – «я с самим мэром в баню хожу». Потом и на работе с ними все решают*» (мужчина, 32 года, предприниматель).

«*Вот твой дядюшка – большой человек. Академик, директор. А вот ему нужно было на прием к губернатору. Он туда-сюда, а никак. А я позвонил по мобильнику и договорился. Так-то. Я же Винникова еще по комсомолу знаю. В свое время столько водочки вместе выпили, что азохен вей*» (мужчина, предприниматель, 57 лет).

Важной особенностью территориального сообщества Биробиджана является интегрированность в него представителей власти. Мэрия и администрация области здесь отнюдь не выделенные структуры, а вполне «освоенные» местным сообществом. В первую очередь это, разумеется, госсаказ или иная возможность приобщиться к благам бюджета. Но не только. В интервью неоднократно упоминались ситуации, когда административные лица выполняли в отношении территориального сообщества функции, далеко выходящие за пределы их служебных обязанностей: выступали в качестве третейских судей в неформальных хозяйственных спорах, составляли протекцию жителям перед внешними агентами и т.д. Такие неформальные функции формального лидера и создают ему авторитет в сообществе, позволяют это сообщество «видеть».

В противном случае руководитель отторгается территорией, что при наличии прочных социальных связей означает его провал как управленца.

В целом территориальное сообщество в Биробиджане производит впечатление не менее высоко интегрированного, чем в Дальнереченске, но гораздо более сложно организованного. Неформальные структуры здесь не столько противостоят формальным, сколько пронизывают их, включают в себя. Сложность организации позволила сообществу не просто обеспечить выживание своих членов, но и растворить в себе ресурс, предназначенный для модернизации.

Большая часть средств, поступающих в город в виде федеральных трансфертов, перераспределяется в пользу местного сообщества. Причем в силу наличия «своего» губернатора территория получает возможность противодействовать всем попыткам проникновения в нее внешних, не устраивающих ее смыслов и социальных групп. Объединению разрозненных и локализованных общин в целостное территориальное сообщество благоприятствует квазиэтнический фактор (еврейская область), позволяющий «легально» претендовать на признание особенностей, что, в свою очередь, создает пространство для переговоров с государством. Именно наличие такого пространства и делает сеть крайне эффективной, способной «решать проблемы». При этом сама сеть расширяется, усиливается за счет новых членов, стремящихся использовать данный ресурс.

Местное сообщество в малых, а особенно, в крупных городах, оказывается вне контекста «Восточного поворота». Государственные программы все сильнее увязают в местных сетях, теряют эффективность, провисают. Само восприятие этих программ колеблется от стремления (отчасти успешного) утилизовать их, до прямого неприятия и протестных действий. Идеология, которая могла бы примирить «местное» и «общее», не возникла. Не только у провинции, у малых и больших ее центров, но и у федеральной власти не оказалось канала коммуникации, где планы могли бы быть согласованы. К каким последствиям это приведет, пока сказать трудно. Но деньги на «Восточный поворот» уже выделяться перестают.

# Заключение

Итак, спонтанный порядок, возникающий на периферии в лакунах политической власти, вполне способен обеспечить выживание сообщества за счет объединения ресурсов его участников, минимизации транзакционных издержек и организации «комплексного хозяйства». Однако в определенных условиях само его существование оказывается вызовом для полицейского (упорядочивающего) воздействия государства, воспринимаясь адептами последнего в качестве его альтернативы – и на деле становясь таковой.

Характер и результат противостояния между территориальной общиной как формой существования входящих в нее людей и государством зависят от нескольких факторов. Во-первых, это плотность и стабильность самой общинной организации, ее эффективность в решении повседневных проблем участников объединения. Во-вторых, наличие/отсутствие некоей формальной и легальной властной структуры, встроенной в общину. В-третьих, степень заинтересованности государства в данной территории и реализации данного модернизационного проекта. Если эта заинтересованность велика, то мощи государства, скорее всего, хватит на то, чтобы раздавить общину. И, наконец, в-четвертых, мера несовпадения интересов государства и общины.

В принципе интересы государства и территориального (локального) сообщества редко совпадают, особенно если община уже сложилась, и сложилась в отвлечении от факта «государственных интересов». Однако опыт Биробиджана позволяет говорить о том, что такое положение вещей не обязательно продуцирует конфликт. Определяющей здесь оказывается институциональная возможность артикулировать особость и интересы общины, обозначить пути их согласования с интересами государства. Иными словами, община, да и не только община, но любое выделенное социальное образование успешно выживает, если у него есть легальный и легитимный «переговорщик», а также пространство, где эти переговоры возможны. Но и здесь долгосрочное согласование интересов часто затруднено тем обстоятельством, что не артикулированы интересы самого государства. В этих условиях избежать восприятия государственного варианта общего блага в качестве формы структурного насилия крайне сложно.

Это и сказалось в восприятии, точнее, в возможности формулирования идеи «восточного поворота». Для жителей региона проект превращения Дальнего Востока в «транзитную территорию» воспринимался, как мы постарались показать, не просто, как еще один проект «освоения Дальнего Востока». Но способ «забрать» из региона то, что создано, наработано в течение тяжелейшего десятилетия 90-х годов, разрушить привычные и понятные правила игры, не предложив в замен

никаких новых. Более того, сам проект воспринимался, как «слова», признанные скрыть вполне простые и не особенно приглядные вещи.

У региона «забрали» (запретили) те формы экономической активности, которые его кормили. Это вызвало массовые протестные действия 2007-2008-го года. Вслед за ними пришли федеральные деньги. Логично предположить, что и деньги эти пришли исключительно затем, чтобы «заткнуть» выступления дальневосточников. Следовательно, перераспределять их («воровать») – это правильно. Все остальные интерпретации воспринимались в качестве форм легализации этого обстоятельства.

Но еще меньше готовы были воспринять идею «развития Дальнего Востока» в качестве приоритета России жители европейской части страны. Ведь в западной части страны, особенно, в относительно отдаленных районах, проблем не меньше, а людей и возможностей для развития принципиально больше. Соответственно, «развитие Дальнего Востока» в этом контексте не может не вызывать протеста, не восприниматься, как очередное «ограбление», связанное только с возможностью получения коррупционной ренты.

Что же в результате? Может ли сегодня быть выдвинута идея «Восточного поворота»? Может ли она оказаться эффективной формой конструирования «целого». Как не странно, но думается, что ответ может быть положительным. Потребность в «целом» ощущается сегодня не менее остро, чем тяга к разделению и изгнанию другого. Будет ли такое «целое» и его основание сформулировано или преобладает тяга к формированию «врага», проявившаяся в последние месяцы, покажет самое ближайшее будущее.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Бляхер Леонид Ефимович

«Восточный поворот России»
возникновение и выживание естественного порядка в малых городах
Дальнего Востока России

Ответственный редактор С.М. Филиппова

Сдано в набор 12.06.2013. Подписано к печати 30.06.2013. Бумага офсетная. Формат 60х90/16. Печать офсетная. Усл.печ.л. 6. Уч.-изд.л. 5,3. Тираж 300 экз. Заказ 10/89.

ООО «СКВ галерея»
680001, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4.

Отпечатано в КГУП «Хабаровская краевая типография».
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.